

НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
19 ЛЕНИНГРАД 25

С. С. С. С. С.

Р. С. С. С. С.

414311

ЛЕНГИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАД, ДОМ КНИГИ, Проспект 25 Октября, 28. Тел. 132-44, 570-14.

МОСКВА, Тверская, 51. Тел. 3-92-07, 4-92-31.

ПЬЕР АМП

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ.

Перевод А. А. Поляк. Под редакцией Бенедикта Лившица.

С предисловием Ренэ Маршана.

Стр. 167.

Ц. 70 к.

ЛИЛЬСКИЕ ТКАЧИ.

Перевод с франц. А. А. Поляк. Под ред. Бенедикта Лившица.

Стр. 129.

Ц. 60 к.

Амп — интереснейшее явление современной французской литературы. Грандиозность творческого размаха, глубокое своеобразие мастерства, удивительная цельность и сила — делают его крупнейшей фигурой литературного горизонта.

Амп героем своих произведений делает труд. Из рамок этой темы он не выходит никогда. Он только перебрасывается из одной области труда в другую, из капиталистического города в деревню, из рельсопрокатного завода, от ткацких станков Лилля в виноградики Шампани и т. д. Везде он находит темы для своих произведений. Он кропотливо исследует условия производства, внимательно изучает быт рабочих, остро и решительно ставит вопросы.

Амп не признает различия между статистическим этюдом и художественной вещью. В его романах таблицы, схемы, сухие выкладки перемежаются с яркими, сочными, глубоко художественными изображениями. Это создает своеобразный, чисто „амповский“ стиль.

(„Книгоноша“.)

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

A 621

П. АМП

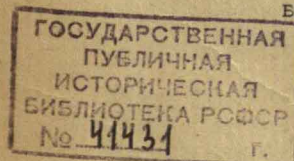
84-3

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРЕВОД
О. БРОШНИОВСКОЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА



VV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

В книге, которой предпосылаются настоящие строки, больше, чем во всех других произведениях Пьера Ампа, проявляется богатство живописно-изобразительных средств, свойственное его изумительно-многообразному дарованию.

«Песнь песней» позволяет нам измерить все значение этого глубоко-оригинального писателя, не имеющего себе равных ни в одном из видов современной литературы, ибо Пьер Амп поистине является пионером нового искусства, представителем нового типа мышления, новатором и основоположником, в полном смысле этого слова.

Книга, предлагаемая Государственным Издательством вниманию русского читателя, не может быть названа ни романом, ни социальным этюдом в обычном значении, придаваемом этим терминам. Она переросла рамки того и другого: ее нельзя отнести ни к одной из существующих категорий литературных произведений. Это — сама жизнь, с ее глубиной и многообразием, жизнь, бьющая ключом, растекающаяся широким потоком, со всеми ее прихотливо-фантастическими контрастами, с ее неисчерпаемыми сложностью и полнотой, свойственными всему, что подлинно — живо и жизненно.

Среди роскошных полей и садов южной Франции, где население культивирует цветы для нужд парфюмерной промышленности; в окрестностях Парижа, на фабриках, где из самых непривлекательных и неблагоприятных веществ, по какому-то удивительному контрасту, добываются самые тонкие ароматические эссенции; в шикарнейших магазинах французской столицы, диктующей всему миру законы вкуса; в обстановке самых модных «академий красоты» и салонов маникюра; в утонченнейших любовных отношениях, исполненных невыразимого сладострастия, — всюду мы сталкиваемся лицом к лицу с подлинной жизнью, т.е. с радостью, страданием, неизвестностью, надеждой, тоскою, скорбью, напряженным трудом, словом, со всею гаммою человеческих чувств и действий, развертывающейся перед нашим взором в виде ряда блестящих фильм, снятых с совершенно непостижимой точностью. Это — фотографические снимки, но снимки без малейшей туманности и расплывчатости. Каждый из читателей может в области своей специальности проверить, до какой степени во всех своих изображениях Пьер Ампа остается верен действительности, а заглянув внутрь себя, всякий может убедиться в глубокой жизненности и правильности его психологических наблюдений.

Естественно возникает вопрос: что же сообщает единство этой серии фильм, нагроможденных автором одна на другую? Ответ на это дает все творчество Ампа. Разрозненные на первый — поверхностный — взгляд картины, представляют собою органическое целое, будучи спаяны единым замыслом художника, задавшегося целью изобразить многоликий человеческий труд. Амповская «Песнь песней» — великолепная фреска, не уступающая самым прекрасным, наиболее удачно скомпонованным фрескам древности, но фреска глубоко-современная, отдельные черты и общая гармо-

ния которой взяты непосредственно из окружающей нас жизни, упорно нами незамечаемой, наперекор заложенными в нас самими, еще неясным стремлениям к новым горизонтам, пока лишь мимолетно вырисовывающимся перед нами. Именно в этом основная сущность и главная ценность предлагаемой книги Ампа — исключительно прекрасной, ибо она исполнена живой красотой настоящего, а не бледными отражениями минувшего.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

Весна смеялась в садах Грасса. Крестьянин Жан Теуль, поднявшись с зарей, направлялся к старым оливковым деревьям, блаженствовавшим в своем солнечном и укрытом от ветра уединении. Сорокапятiletний человек этот, седой и с черными глазами, пахнул чесноком и потом. Пришла Маргарита Бертолотто, пьемонтка-сборщица, в красном платке и с корзинкой на руке; грубые башмаки ее побелели от дорожной пыли. Она прокричала установленное приветствие тому, кто оплачивал ее труд: «*Voilà jou mestré*: Добрый день, хозяин!» и опустилась на колени для кропотливой работы — собирая последних фиалок, — протянув руки к земле и опустив голову.

Теуль точил косу, намереваясь снять оставшуюся от фиалок зелень; после цветов, он продавал парфюмерным заводам и листья. Вскоре подошла и хозяйка, Марта Теуль, в сопровождении двух сыновей: тринадцатилетнего Ренэ, которого называли «Зачарованным», потому что он говорил мало и взгляд у него был кроткий, и шестнадцатилетнего Пьера, ловко взбиравшегося на деревья.

Маргарита ползла на коленях к последним цветам, спрятанным в густых листьях. На окраине поля, коса Теуля подвигалась, сверкая и оставляя за собой запах свежескошенной зелени. На обнаженной земле было удобно подбирать оливки. Пьер Теуль, упершись

босыми ногами в толстые ветви, сбивал шестом жесткую листву. Плоды градом сыпались на растянутый на земле холст.

Кося фиалковые листья, отец, Жан Теуль, думал, что недавно еще он работал только для того, чтоб прокормиться, нынче же — чтоб разбогатеть. Он не знавал подобного урожая оливок и такой высокой цены на них: сорок франков за двадцать литров. Жена его, стоя на коленях и собирая пригоршнями созревшее богатство, сказала:

— Продадим Питалуге, он платит лучше грассовцев.

Агент фирмы: «Буа, Мурэ-Брю и Бавекка, Оливковое масло, Ницца, улица Джофредо» — закупал щедрой рукой.

Жена Теуля была теперь достаточно богатой, чтобы нанимать работниц, вместо того, чтоб трудиться самой, но найти их было невозможно. Девушки предпочитали идти на заводы, нежели калечить свои пальцы и ноги на садовой работе. Мария Теуль была принуждена попрежнему собственными руками работать над своим богатством. Она жестоко билась во время войны, отказавшись лишь от непосильной для женщины работы, как, например, подрезания деревьев, что, однако, не помешало урожаю быть превосходным. Теперь она не желала больше гнуть спину и только взвешивала снятые плоды. Она спросила Маргариту:

— Ну, что же, не находите себе подруг?

— Не хотят идти, — отвечала пьемонтка.

Солнце показалось из-за холма. Ренэ Теуль улыбнулся ему, словно ласке. Мать сказала ему тихонько:

— Радуйся!

Она называла его «Маслинкой» и никогда не бывала с ним резка. Захваченный чудесным таинством, опьяненный солнцем, мальчик не слышал того, что она ему говорила.

Мужчины уселись для утренней трапезы, которую Мария Теуль вынула из закрытой белой салфеткой корзинки: банку с анчоусами, хлеб и красное вино. Завтракавшие выбирали себе оливки из груди.

Жан Теуль указал на дым, поднимавшийся над одним из грасских заводов:

— Массьерэ перегоняет нынешний год шестьдесят тысяч кило померанцевого цвету.

— До войны, — сказала жена, — они платили нам по четыре су за кило, теперь это стоит шесть франков. На деньги, которые заводчики украли у нас, мы могли бы разбогатеть!

Жан Теуль вступился за Массьерэ:

— Не он сбивает цены, настоящий вор — Гиг.

Он обратился к своему первенцу, который должен был стать после него хозяином:

— Знай, сынок, было время, когда мы не могли приправлять анчоусами салат из помидоров и оливок. Отец мой и я — мы ели чеснок и запивали его водой, в то время, как заводчики строили себе громадные заводы.

Он съел кусок белого хлеба с анчоусом и отхлебнул красного вина.

— Парфюмеры были господами. Они платили за цветы, сколько им заблагорассудится. Нам приходилось отвечать только «хорошо» и «спасибо». Мы с твоей матерью стояли перед Гигом с корзинками и предлагали ему: «Вот у нас тут немножко роз, не угодно ли вам?». И он отвечал важно: «Поставьте там! Вам скажут, сколько вам за них следует!» И мы оставляли розы и уходили с пустыми руками. Садоводов презирали.

Жан Теуль не говорил больше «крестьян», как прежде. Мелкие земельные собственники называли

себя садоводами, так как пробудившееся в них самолюбие требовало более громкого названия.

Ренэ смотрел на небо над городом, подернутое черным дымом работавших заводов. Горизонт отодвигался вдаль, по мере того, как солнце постепенно освещало холмы. Все остальное тонуло в беспредельной лазури и золотых лучах; то была многоцветная красота мира среди сумрачных нитей дыма парфюмерных заводов.

Перед городом, расположенным на скате и прислоненным к самым отрогам Альп, равнина и холмы, прерываемые цветущими террасами, сбегали к далекому Средиземному морю, еще настолько неясному в рождающемся дне, что его нельзя было различить от неба. Линии горизонта не было видно над морем. Две бездны казались слитыми — бездна воздушная, в которой бледнел рассеивающийся свет, и бездна водная, окутанная туманом. В лучах разгорающегося дня явственно обозначалась белая пена волн у мыса Гаруб. Теуль протянул к городу и заводам широкие худые руки:

— Эти камни пропитаны нашим потом. Богатство граССких заводов вышло из наших садов.

Маргарита Бертолотто встала, спеша вновь приняться за работу, так как ей платили с килограмма за цветы и с меры за оливки.

Пьер Теуль, изо всех сил трясший ветки, задавал большую работу присевшим на корточки женщинам. Отец, наставляя сына, влезал на самый верх деревьев, по шесту, на котором были прибиты перекладки, ровно выступающие с обеих сторон. Босые ноги его проворно подымались по лестнице, напоминавшей собою позвоночный хребет. Опытный садовод отстранял ветви не палкой, но рукой, чтоб возможно меньше повредить им, и дотрагивался до плодов только кончиками пальцев, словно птица кловом. Заботясь о будущих барышах, он кричал Пьеру, сбивавшему палкой

слишком много листьев на почерневший от плодов холст:

— Не колоти так!

Для этой опасной работы — сбиванья оливок — трудно было найти работников. Они боялись этих корявых деревьев, где не за что ухватиться. Паденья бывали нередки. Наиболее стройные деревья, подрезанные, как померанцевые, росли в имении баронессы Алисы Ротшильд. Жан Теуль сказал:

— Для нее оливковое дерево — только забава. Она не позволяет подбирать оливки, потому что не желает пускать к себе посторонних.

Ренэ Теуль смотрел на каменистую дорогу, по которой шла женщина в белом платье.

Она подняла свои прекрасные смуглые руки, выступавшие из коротких рукавов, и сказала:

— Добрый день всем! Как чудесно пахнет!

Радость на лице ее была так ярка, что все встретили ее улыбкой, кроме Ренэ Теуля, подбиравшего оливки. Красавица эта, зимовавшая здесь, проживала на вилле «Очарованье», сад которой прилегал к земле Жана Теуля. Она любила гулять среди оливковых и померанцевых деревьев, росших на террасе внизу, в теплой и защищенной от ветра ложбине, где свадебные деревья распускались пышно.

Лучезарная женщина освещала своей красотой сумрак, реявший под старыми оливковыми деревьями, отягченными темными плодами. Она повесила на ветку свою широкую, из итальянской соломы, шляпу, украшенную золотистой лентой. Ее лицо показалось еще более ослепительным в ореоле темных волос. Кожа ее, позлащенная солнцем, была темней на веках от радостей любви. Серые глаза кротко сияли. На восхитительном лице великолепным пурпуром сверкали раздвинутые над белыми зубами губы.

Маргарита говорила ей восторженно:

— От солнца можно защититься, прикрыв глаза рукой. Перед святой девой молитвенно складываешь руки. Что сделаешь при виде вас?

Восторг Ренэ Теуля, очарованного ребенка, увеличился еще больше. Женщина казалась ему ослепительней самого солнца. Она быстро склонилась своим гибким телом и, сидя на земле, радовалась тому, что может говорить о цветах. Ей нравилось смотреть, как их собирают, и она постоянно покупала их. Крестьяне любили ее, несмотря на ее праздность.

Жена Теуля позавидовала ей:

— Легкая у вас жизнь!

Прекрасная счастливица протянула свои нежные руки к грязным рукам пьемонтки:

— Помочь вам?

Женщина пожалела богатое белое платье; она ответила, указывая на оливки:

— Они пачкают...

Она не позволила работать этому восхитительному существу и подала красавице миндальную веточку, густо покрытую цветами. Теуль любовно поглаживал ствол дерева, в цветущем своем наряде казавшегося сплошным громадным цветком.

— Их было много на землях Грасса в те времена, когда парфюмерные заводы пользовались еще миндальным маслом, прибавляя к нему хину, чтобы оно не прогоркло. Теперь они употребляют только оливковое. Миндальные деревья повыврвали. В нашей стране всегда все делалось по воле парфюмеров. В Бандоле и Олиуле народ не так порабощен. Под оливками они разводят анемону, фиалку, гвоздику для букетов.

Мария Теуль сказала:

— Завтра мы будем обирать апельсиновые деревья. Приходите. Вам будет хороший букет.

Она набрала ей фиалок. Красавица жадно углубила лицо в пахучие цветы, касаясь их длинными черными ресницами.

Она вернулась в свой сад, где мужчина в белом фланелевом костюме обнял ее с торжественностью любви. Она не улыбалась больше.

Они опустились на том месте, которое называли «Эдемом». Никто не мог их там видеть. Коренастые пальмы с крепкими стволами и высокий густолиственный лавр стеной обступали этот уголок террасы, откуда к холму с оливковыми насаждениями спадала волна герани. Розы прикрывали керамиковый синий свод, под которым приютились светлые камышевые кресла со множеством подушек. Прозрачная горная вода светила в круглом бассейне, дробя лучи, проникающие на его дно из белого с розовыми прожилками мрамора, и подергиваясь тенью от упавших на ее поверхность листьев.

Солнце золотило далекое голубое море, оттеняя разнообразные краски зелени, серебро оливковых деревьев, изумруд апельсиновых и освещая быструю воду спускающегося по противоположному холму канала.

Мужчина расстегнул платье женщины. Обнажаться под ярким солнцем стало для них привычкой. Все пространство от левого соска до конца ребер на теле мужчины багровым крестом пересекал рубец.

Как жители рая, легли они лицом к небу, подложив каждый руку под голову другого. Благоуханье тела женщины, растворяемое теплом, подымалось среди трепетных пальм, осчастливленных зноем.

— Дениза, — прошептал мужчина, губами почти касаясь губ возлюбленной. Медленный поцелуй сблизил их опущенные на подушки, в тени навеса, головы; тела их, предоставленные свету, оставались спокойны, позолоченные вплоть до пят загаром. Как лук, напрягаемый

неодолимым лучником, выгнулась женщина, притянутая от головы до ног, производивших на песке звук, похожий на шелест насекомого.

Из нежных губ женщины вырвался призывный вздох, и мужчина — властелин наслаждения — сомкнул на ней руки. Они принадлежали друг другу телом и взглядом. В глазах женщины отразились обожание и ужас. Молодой человек смотрел, как растут вокруг ее зрачков золотые искры. Она, казалось, могла умереть от любви.

Лаская ее прикосновеньем губ и рук, он разбрасывал по ней фиалки. Цветы, возросшие в тени, опаленные ярким солнцем, умирали на счастливой женщине, залитой светом и покрытой поцелуями.

С наступлением нового прекрасного утра, Маргарита Бертолотто первая явилась обирать померанцевые деревья. Она была вполне удовлетворена своей тяжелой работой, которую она находила здесь во всякое время года: зимой стирала белье для отелей, летом — собирала цветы. В этом году она оставила прачешную, для сбора оливок и зарабатывала по два франка за двадцать литров. Она разостлала белую простыню под померанцевыми деревьями, усыпанными звездами сладких цветов, и начала обирать нижние ветки. Ароматная масса падала с драгоценных деревьев, совершенно прямых, с лощеным стволом и правильно расположенными листьями. По сравнению с корявыми оливковыми, померанцевые деревья на обеих террасах казались стройным рядом букетов.

Семейство Теулей явилось нагруженное лестницами, которые несли мальчики. Мать поставила свою корзинку под фиговым деревом, молодые листочки которого казались зелеными язычками пламени над свечами-веточками. Мужчины влезли на лестницы и протянули руки над невысокими деревьями. Цветы, распространяя могучий аромат, усеяли растянутую простыню. Мелкая листва оливковых деревьев, с серебристой изнанкой, колыхалась от свежего утреннего ветра; солнце было еще за холмами. Масличное дерево, высокое и темное,

строго выросло над померанцевыми, подстриженными в виде ярко-зеленого, с белыми крапинами, шара. Грасс, вместившее благоуханий, задышался среди ароматов цветущей растительности. Виллы зимних домиков обступали своими белыми фасадами и красными крышами серые каменные городские строения, крытые, по старинному, круглой черепицей, бледной, благодаря кустарному обжигу. Характер построек указывал на разношерстный состав их обитателей: низкие сельские дома крестьян-садоводов, виллы, в живописных окрестностях для зимующих созерцателей красот природы, заводы и ветхие лачуги рабочих. Возвышенность и плоскость олицетворяли собою капитал и труд: людей, которые присаживаются там, откуда вид получше, и тех, которые пристраиваются там, где работать удобнее. Зеленые холмы, перерезанные лентами белых дорог, благоухали цветами, среди которых властно царили померанцевые. Растительность и пахучая земля выделяли вместе сложные струи аромата, впитывая влагу орошающих их ручьев. Надо всем царил стойкий свадебный аромат, горьковатый и сладкий, такой же упорный, как и солнечный цвет.

Деревья задумчивые и деревья смеющиеся — оливковые и померанцевые — сближали оттенки своих ветвей и принесенного урожая: черного у подножия грубых стволов с серебристой листвой и белого вокруг лощеных, увенчанных изумрудным шаром. Руки крестьян, протянутые к белым цветам, собирали богатство, наполнявшее гордостью сердце Марии Теуль.

Иногда среди благоуханья чувствовался нечистоплотный запах, исходивший от Маргариты Бертолотто, жившей в грязной лачуге в Грассе. Мужчины, подпоясанные матерчатыми поясами, распространяли запах пота. В этой стране солнца и цветов, прекрасной, как мечта о земном рае, человечество являло свои два древ-

них лика: труд и праздность. Вилла была серединой между полем и заводом.

Работавшие трудились почти бесшумно: на террасе с померанцевыми деревьями шелестели листья, у оливковых слышались удары шестом по ветвям и паденье плодов. На оливковых деревьях сидели влезшие на них люди. Работавшие над померанцевыми влезали на лестницы и осторожно обрывали цветы рукой. Ренэ Теуль впал в обычную задумчивость. По каменистой дороге приближалась прекрасная женщина в розовом платье. Золото ее загорелой кожи отражало теплый отблеск ее платья. Между темных стволов оливковых деревьев ее фигура мелькала, словно факел. Длинные черные ресницы оттеняли нежную прозрачность серых глаз. Лучезарная, шла она по цветущей земле.

Мария Теуль срезала для нее наиболее пышные ветки. Маргарита Бертолотто кружилась возле деревьев, выбирая лучшие цветы. Она спросила Ренэ:

— *Soun bella damoun?* Есть там наверху получше?

Он бросил к ногам Денизы ветку, всю унизанную сверкающими лепестками. Она поднесла к губам зелено-белый букет, запах которого окутал ее, словно ласкою.

Жан Теуль, не желая слезать с лестницы всякий раз, как у него наполнялись руки, засовывал цветы за пазуху, в оттопырившуюся рубашку. Аромат померанцевых цветов побеждал испарения его тела и одежды, пропитанной потом; он весь благоухал.

— Ваша вилла, — сказал он женщине, — находится на том месте, которое заводчик Гиг купил у моего деда в тот год, когда цветы отдавались за бесценок. Наши оливки заходили далеко за вашу террасу.

Дениза дружественно села возле довольных крестьян. Они собирали для нее цветы и продавали ей красивые букеты. Ренэ Теуль, поощряемый матерью, протянул

руку и принял деньги. Отец, спустившись с лестницы, опорожнял над холстом рубашку. Он высвобождал цветы, застрявшие на его волосатой и костлявой груди.

— Вы еще не знаете, что такое этот Гиг, хозяин ваш. Он выделяет ром на Мартинике, вино в Тунисе, духи в Грассе. Семья его, благодаря деньгам, которые она у нас украла, стала одной из самых богатых во Франции.

Праздная красавица, прижимая букет к груди, почувствовала укол. Маргарита не позволила ее прекрасным пальцам очистить ветки от шипов и черными ногтями скобила крепкие зеленые стебли.

Мария Теуль пообещала:

— Скоро у вас будут лучшие наши розы, те, что берутся для масла. У Гига, при всех его плантациях в Сирии и Болгарии, никогда не будет таких, какие мы начнем собирать на будущей неделе. Господь бог не создавал ничего лучше грасских роз.

Женщина, опьяненная благоуханием, медленно поднималась по дороге к вилле «Очарованье». Друг вынул зелено-белый букет из розового корсажа. «Это мое место», — сказал он. Припав головой к его груди, она повторяла тысячелетние слова, которым он научил ее:

— Мирровый пучок, — возлюбленный мой у меня! Между грудями моими будет он спать.

На месте таинства, под защитой лавра, он снял с нее платье, чтобы покрыть ее тело ласками и солнечными лучами. Отдавшись свету, они мечтали, очарованные взаимным прикосновением.

Подчиняясь сладкой одуре померанцевых гроздий, Дениза неожиданно постигла глубокую горечь этого запаха зеленых листьев и белых цветов. Он вызывал в ее памяти воспоминанья о тех днях, когда она уже испытывала нечто подобное. Сложный аромат эфирных померанцевых масел восстановил в ее тонких расширен-

ных ноздрях запах иода и хлороформа. Воспоминанья выросли, оживленные благоуханием. Она снова увидела лионский госпиталь, где, тяжело дыша, боролся со смертью драгунский поручик Поль де Бракэ-Саатр, которого переправили туда из госпиталя в Зюдкоте. Доставленный в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое ноября 1916 г. и положенный на койку номер тридцать два, он протянул к ней руки, когда она утром проходила мимо него в белой, с красным крестом одежде сестер-волонтерок. Она спросила его, чего он хочет. Она не разобрала его невнятного ответа. Но глаза этого человека сказали ей, что она для него божество. Повсюду в зале, где она находилась, взгляд раненого следовал за ней. Он жаждал ее, как луча во мраке.

Руку женщины, настолько прекрасной, что никто до сих пор не решался обращаться к ней иначе, как с мольбою, руку этой женщины осмелился взять умирающий. У соседней кровати, барышня Ланглар, владелица фабрики шелковых тканей, гладила волосы маленького бретонца. Мальчик призывал в агонии: «мама!» Крик его принимал теперь другой смысл; он звал уже не отсутствующую, он звал сестру, измученную самопожертвованием. Усыновление совершилось, когда он был в бреду. Юноша чувствовал ласку более нежную, нежели ласка матери-крестьянки: у барышни Ланглар, владелицы фабрики, оказался сын, который должен был умереть.

В восторженных глазах Поля де Бракэ-Саатра Дениза увидела осуществление того, чего она так просила у девы Марии: любовь, которая выше всего на свете. Молодая женщина так сильно сжимала пальцы раненого, что он закусывал губы, улыбаясь от счастья и от боли. Он закрыл глаза, а она упала на колени, с рыданием и молитвой.

Санитар сказал ей:

— Закройте ему лицо.

Потом —

— Нет, он спит; он очнется.

Отдаваясь воспоминаниям, властно вызванным цветами, Дениза положила свою прекрасную голову на раненую грудь Поля. Темной прядью распущенных волос женщина, как дымкой, прикрыла багровый рубец. Он пожелал, чтоб она подняла к нему лицо, и проник в него взглядом. Он отучил ее от боязливой любви и от способности краснеть от счастья и наслаждения. В спокойном сладострастии они широко раскрывали глаза навстречу солнцу. Тем не менее, он восхищался всякий раз, когда ею внезапно овладевала таинственная стыдливость, заставлявшая ее прижиматься к нему в робости и смущении. Букет, благоуханье которого вызывало в ней эти мысли, откатился к перилам террасы, озаренной ослепительной геранью.

— Ты, прекраснейший цветок, — сказал Поль, — и сладчайшее благоухание: красота и нежность. Без тебя я был бы трупом. Ты коснулась меня, и я воскрес. Я помню, мне казалось, что я мертв. Благодаря тебе, жизненный свет озарил мое сознание, где царил глубокий мрак. Лицо твое ослепительней лучей, опаляющих нас, и тело твое душистее цветов, которые ты приносишь. Светила и цветы в тебе. Где ты — там красота мира. За ласку твою я готов умереть; благодаря ей, я остался жив, хотя и был полумертв. Мне больше нечего ждать от рая!

Янтарное тело освещенной солнцем женщины издало тонкий запах, который мужчина впивал у нее на груди. Она казалась красным зверем с черной гривой. Любовь их не знала утомления, так как в ней не было неистовства: между ними установились сладострастно-братские отношения. Шопотом и взглядом поддерживала она в нем уверенность в победе. Он постиг, благо-

даря ей, редчайшую возможность в любви: одним прикосновением к телу женщины овладевать всеми ее помыслами.

Великолепная и смиренная, она склоняла перед ним свою красоту по мановению его руки. Она бывала грустна, если он ничего не требовал от нее. Вначале он подчинял ее себе, как вихрь и как свет, и она чувствовала себя охваченной и неуловимой. Это было в то время, когда она еще закрывала глаза в сладострастии. Теперь они раскрывались под его ласкою, такие ясные, такие прозрачные, что она становилась для него отдохновением, а не вожделенной добычей.

От поцелуев, в прекрасных глазах ее ширились искры. Три вокруг левого зрачка и две по обоим сторонам правого — они составляли созвездие, ослеплявшее Поля, когда он смотрел в них пристально. И во сне виделись ему эти звезды среди необъятных небес в глазах возлюбленной.

Он обращался к ней, как к божеству: «Ты, которая двигаешь мирами...»

Желая порадовать ее благочестие, он учил ее словам «Песни песней»:

«— Сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя».

Один взгляд его заставлял ее преклонять перед ним колена. Она боялась и стыдилась лишь одного — быть недостаточно покорной. Она спрашивала:

— Чего желаешь ты еще?

Она смеялась радостно, когда он учил ее новым ласкам. Они бесконечно волновали друг друга, не испытывая, однако, никакого удивления. Их больше не испепеляла молния поцелуев, как в те времена, когда в ласках их сквозило желание умереть от любви. Они ели и пили, были здоровы и безмятежны, не зная страсти, и великая нежность, какою стала теперь их

любовь, была любовью до грехопадения, спокойной, радостной и могучей. Слово было для них средством ласкать друг друга, ибо им уже не приходилось объясняться в том, что единственно было для них важным, — в любви.

О жизни они думали меньше, нежели о том, чтобы жить и погибнуть вместе, так как каждый из них был жизнью для другого. Она прочитывала в его мыслях то, что было мыслью не о ней, и тотчас же становилась печальна, как если бы померкнул свет, но он улыбался, и солнечная ее веселость возвращалась. Чудесно-кроткая по природе, она была чужда злопамятства и жаждала поцелуя, а не ссоры.

— Ты отлично знаешь, — говорила она, — что можешь все со мной сделать!

И если он гордился этим, если она чувствовала, что в нем загорается желание и страсть, она целовала ему руки. Он тотчас же преклонялся перед ней, славословя ее, как божество.

— Есть одно лишь солнце! Открой глаза, чтоб стало ясно. Вот ты смеешься. Поглоти меня поцелуями твоих алых уст!

Она пребывала набожной, чтоб молиться за него. На загорелом теле ее жили поцелуи, свет, нежные ароматы и вечные слова:

«Запах приятный у масл твоих... Как прекрасна ты, подруга моя, как прекрасна. Но грозна, как полки со знаменами!»

Кожа ее, раньше розовая и покрытая бледным пушком, стала теперь, под тонкими золотыми волосками, атласной от солнца. Прежде едва заметные на ее теле цвета персика, они блестели теперь, сверкая, как молния на загорелой коже. Темным блеском сияла женщина навстречу устремленным на нее глазам, оправдываясь словами древней песни, посвященной вели-

кому экстазу любви: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня».

На опаленное ее тело ложилась тень от фиговой ветки, прикрывая ее, подобно Еве.

Солнце знойно льнуло к земле. Над упоенной четой пролетали пронизанные лучами ласточки. Любовники состязались в обожании:

— Когда ты разлюбишь меня, — говорила она, — сон твой выдаст мне твою тайну! Сегодня ночью я попробовала отодвинуться от тебя. Ты последовал за мной и во сне. Я же просыпаюсь, словно от удара, как только ты выпускаешь меня из объятий!

Ликуя от счастья и от сознания своей власти, она смеялась солнцу, ему, природе, среди которой они оставались укрытыми от всех и видящими все сквозь завесу герани.

Растения — стражи их солнечной тайны — были тихи этим безветренным днем, как и их длительный и сладостный поцелуй. На каменистой дороге, ведущей к оливковым деревьям, слышались тяжелые шаги. Жан Теуль уносил в Грасс собранные в джутовый мешок цветы, благовонное дыхание которых доносилось до влюбленных.

Жан Теуль не гнушался, подобно своей жене, выполнять привычную работу. Не стыдясь, шел он в город с ношей на голове. Проходя мимо Ле-Плана, он сложил ее возле дома Массы.

Две террасы, поддерживаемые каменной кладкой, были засажены розовыми кустами, уже покрывшимися листьями, и жасмином, на котором зелень еще не показывалась. Глубокий резервуар принимал сточную воду, уносившую с заводов цветочные отбросы. Они образовывали на ее поверхности толстый слой, в зловонии которого еще чувствовались следы основного запаха. Черная жижа апельсиновых лепестков, извергнутых заводом, сохраняла еще еле заметный нежный аромат.

Над воюющей водой, увлекающей мертвые лепестки, носился запах девственных цветов, которыми был набит мешок Жана Теуля. Масс, худощавый человек, наклонившийся над розовыми кустами с привычными жестами опытного садовника, спросил его:

— Идешь в Грасс?

— Да, — отвечал Жан Теуль, — у нас собрание по поводу цен на розу. Некоторые трусы и сейчас еще готовы говорить заводчикам: «Как вам угодно!»

— Заводчики ответят, что не могут дорого платить, так как у них большие расходы. Они расширяют дело. Это только подтверждает, что они нас обокрали. У деда Гига был крошечный заводик, и он ездил с кубом

в горы за лавандой. Теперь у Гига трехтрубный завод и сто миллионов.

Раздражаясь собственными словами, Масс с новой вспышкой гнева повторял давно известные вещи. Он легко впадал в бешенство и становился криклив в противоположность Жану Теулю, медленно выбиравшему слова и произносившему их с расстановкой, словно он обучал детей. Говорил он так же, как считал деньги — сурово и осмотрительно. Он часто разводил руками и оттопыривал локти.

Масс произносил слова с такой быстротой, что они беспорядочно насакивали друг на друга и вылетали незаконченными. Лицо его успокаивалось столь же быстро, как быстро вспыхивало его раздражение. Он потряс кулаком в направлении заводов:

— Довольно мы были рабами. Они повыстроили себе заводы и накупили ценных бумаг. Когда они выдают дочерей замуж, об этом пишут в газетах! Эти живодеры считались с нами меньше, чем мы считаемся с землею, на которой стоим. Они презирали крестьян!

Будучи страстным пропагандистом, он, в своем стремлении убеждать, пускался в разговор с первым встречным. Потрудившись достаточно над цветами, он упорно предавался теперь словесным излияниям. Он оставлял свои поля, чтоб высказать негодование на заводчиков или завербовать новых членов в синдикат садоводов.

Теуль решил связать свои интересы с интересами остальных.

Задумчиво подняв на голову благоухающий мешок, он отнес его на завод Массьера и во время явился на собрание синдиката, насчитывавшего четыреста человек членов, мелких земельных собственников Плакьеры, Муан-Сарту, Ле-Плана и Валлори. Люди трех различных категорий заставляли крестьян простирать

мысли за ограды их садов; людьми этими были: во-первых, расчетливые лица, вроде Жана Теуля, постоянно прикидывающие, сколько они теряют на барышах заводчиков, затем—люди, не забывающие того, что грасские парфюмеры обогатились за счет их собственной нищеты, и, наконец — мятежно настроенные, вроде Масса, не перестающие проклинать незаконных богачей.

Годы терпенья и потоки слов уничтожили рабскую покорность крестьян и вызвали к жизни дух сопротивления, проявлявшийся иногда против самих пропагандистов, которых упрекали в том, что они ищут собственной выгоды. Подобная неблагодарность заставила крестьян возвысить голос. Все служило делу освобождения, даже бесславие тех, кто являлись первыми его проповедниками.

За пропагандистами следовали организаторы, среди которых одним из наиболее почтенных был Морен, бывший офицер колониальных войск, художавший человек, воспитанный в духе французской бюрократии. Сомнительно, чтоб кто-либо из крестьян, относившихся друг к другу с большой ревностью, мог выполнять трудные обязанности секретаря синдиката садоводов. Уроженец страны, — без чего Морен никогда не был бы избран — он, благодаря своей долговременной отлучке, стоял в стороне от местных распри. Морен был чрезвычайно уважаем всеми. Крестьяне помнили его отца. Это обстоятельство служило для него аргументом, который он и выкрикивал в собраниях. В этот день он следующими словами начал свою речь, обращенную к четыремстам крестьян:

— Вы хорошо знали моего отца. Следовательно, мне вы можете доверять!

Пронзительным голосом и в логически построенной речи он выносил, после долгих предисловий, краткие решения. Как бывший военный администратор, он

отличался авторитетным и убедительным красноречием, но не терпел возражений, и если его прерывали, в распоряжении у него всегда были еще более громкие ноты.

Костюм его, застегнутый на все пуговицы, выделялся на фоне деревенской небрежной одежды.

Когда он спросил:

— Все ли согласны не уступать кило розы дешевле десяти франков? — возбужденные крестьяне изъявили свое решение воинственными криками:

— *Vai! Идет!*

— *Devou paga!* Должны дать!

— *Avès pas pou!* Дадут, не бойсь!

— Не дадут они столько! — совершенно спокойным голосом сказал Риберо из Муанн-Сарту: это был тихий старик, явившийся на собрание в своей черной свадебной одежде; низ его брюк побелел от дорожной пыли. Ненакрахмаленная рубашка стала белоснежной от стирки и просушки на солнце и девственной чистотой облекала его морщинистую старую кожу со вспухшими жилами. Белизна безукоризненно вымытого белья оттеняла на шее и на руках кожу, потемневшую от загара и вьевшихся в нее нечистот. Ушные раковины лоснились у него от жирной грязи. От человека этого, заботливо державшего в руках зонтик, исходило злобование. Он произнес свои слова совсем тихо, но соседи повторили их громко и вопросительно:

— Не дадут?

Присутствующие разделились на упорных, задавших целью победить во что бы то ни стало, и на нерешительных, которым трудно было расстаться с привычной покорностью.

Масс мог молчать, но только в том случае, если все кругом молчали. Как только он слышал разговор, говорить для него становилось необходимостью. Он не

столько вслушивался в слова говоривших, сколько нетерпеливо ждал, чтоб они кончили и чтоб ему можно было заговорить в свою очередь, причем он обыкновенно начинал кричать громче собеседника, размахивая перед его лицом руками, с целью заставить того молчать. Слово было для него заразительным. Он мог не испытывать жажды, видя, как пьют другие, но не мог удержаться, чтоб не заговорить, когда кто-либо говорил. Крики присутствующих разрешили его от молчания. Масс набросился на жителей Муан-Сарту и к общему спору крестьян прибавил местное соперничество:

— Коли вы пришли оттуда, где не умеют защитить своих прав, так убирайтесь назад! Предоставьте действовать Грассу!

Морен крикнул, покрывая всех: «Позвольте!» и в двенадцатый раз заставил себя выслушать:

— Вы боитесь спросить пятью франками больше за свои труды и, вместе с тем, не решаетесь увеличить членский взнос, который и всего-то равен только двенадцати франкам в год и одному проценту со стоимости поставляемых цветов. Этого недостаточно! Вы боитесь брать, боитесь и давать. Мы не позволим трусам подчиниться! Нам поставят на вид то, на что они согласятся. Нам скажут: «Они поступают благоразумно, и они довольны. Берите с них пример. Роза в Муан-Сарту требует того же ухода, как и в Грассе. Если поставщики из Муан-Сарту соглашаются на пять франков, вы также должны пойти на это!»

Старик Риберо имел основание говорить:

— Так-то оно так: чем больше нам платят за розу, тем мы довольнее. Но я не хочу, чтобы она осталась у меня на руках, коли я запрошу за нее слишком много.

Опасливая рутина и отважная предприимчивость отражали различное настроение крестьян.

Масс, разъяренный собственным криком и равнодушный к смыслу слов, которых он наговорил слишком много, производил ртом звук, подобный звуку барабана.

Морен объявил, что все согласны на цену десять франков за один килограмм розы; сообщить об этом парфюмерам было поручено делегатам от всех общин.

Первый визит делегации состоялся к «Эдмонду Гигу», старейшей парфюмерной фирме в Грассе. Грузовые автомобили доставляли туда в мешках померанцевый цвет из Валлори и из Италии. На пышном фасаде колыхались тени пальм. От завода исходило сложное благоухание экзотических эссенций, полученных из сухих веществ, и апельсиновых цветов, обработанных в виде твердой массы.

— Им доставляют, — сказал Морен, — две тысячи кило ежедневно. Всего они закупили пятьдесят тысяч кило и получают еще.

Ему было известно количество свежих цветов, приобретаемое каждым заводом. Швейцар в синей ливрее, украшенной золотыми буквами «Э. Г.», распоряжался в прихожей, увешенной патентами и полученными фирмой на выставках дипломами. Теуль, усевшийся под одним из них, гласившим: «Золотая медаль. Париж», заметил, тем не менее, несмотря на все это великолепие:

— Со всеми его миллионами, Гигу не заткнуть мне рта!

Он первым вошел в контору, где перед письменным прибором и многочисленными флаконами, расставленными в величайшем порядке, сидел с суровым видом владелец.

— Вы представители синдиката? Чего вы желаете?

Ответить было предоставлено Морену, и он выполнил это безо всякой желчности, так как не принадлежал ни к числу покорных, ни мстительно настроенных крестьян.

— Нас четыреста членов, и мы можем поставить в этом году триста пятьдесят тонн розы. Условьтесь между собой относительно количества, которым мы должны снабдить каждого из вас. Мы не хотим притеснять кого-либо и поступить несправедливо: так, чтоб один получил все, а другой ничего. Столкнемся же относительно цены и распределения.

Гиг не желал, повидимому, снизить до ответа на это вполне разумное предложение:

— Мне неизвестно, сколько потребуется моим коллегам!

— Не бойтесь, господин Гиг, — сказал Теуль, — уж они-то цветов не упустят! Мы хотим по десять франков за кило!

Эта резкость положила начало спору, сопровождавшемуся со стороны Гига угрозами:

— Грасская парфюмерия возникла из перегонных кубов в горах. И эту систему перемещения орудий производства она распространит на весь свет. Вместо того, чтоб переносить кубы, мы перенесем целиком весь завод. Для меня это решенный вопрос. Я развожу розу в Бейруте и в Болгарии. Число крестьян-садоводов и рабочих на парфюмерных заводах сократится в Грассе, который перестанет вырабатывать эссенции и обратится лишь в складочный пункт. Репутация наша установилась прочно. Ницца, где больше нет ни одного оливкового дерева и ни одного пресса, попрежнему является центром маслостройной промышленности. Мы и без ваших цветов будем центром для парфюмерии. На востоке рабочие будут еще долгое время покорны, и мы воспользуемся ими против вас, так как мы не в состоя-

нии платить за розу десять франков. Это разорило бы все фирмы. Тот, кто покупал в свое время пятьдесят тысяч кило по полтора, по два франка, расходовал семьдесят пять тысяч. Теперь на то же количество потребуются выложить миллион. Мы недостаточно богаты, чтоб платить вам столько!

Масс не снимал шляпы в конторе заводчика, потому что помнил, как отец его обнажал голову, проходя мимо завода.

— Мы хотим жить, трудясь над своим клочком земли, а вы отвечаете нам: «Околевайте тут!» Вам не требуется больше роз и жасмина? У нас достаточно решимости, а земля, которая позволяла нам жить раньше, чем возникла за наш счет грасская парфюмерия, позволит нам существовать и дальше. Мы с корнем повываем цветы и разведем овощи и виноград. Мы будем сыты, и не работая на вас, зарабатывающих пятнадцать франков на каждом кило, которые мы вам поставляем, тогда как сами мы выручаем только три!

Вступился Морен:

— Позвольте! Мы не полномочны обсуждать здесь вопрос о бейрутских заводах. Нам поручено предложить цену на розу: десять франков за кило. Ни сантимом меньше.

Все они стали вдруг необычайно молчаливы и, казалось, сказали последнее свое слово. Морен внезапно сделался чрезвычайно благодушен:

— Говоря между нами, господин Гиг — вы платили за розу полтора, два франка. Теперь десять. Исходя из средней цены, за последние десять лет это только пять франков. Это стоит того!

Старый Риберо, стоя за спинами делегатов, подтверждавших сказанное восклицаниями: «Верно!», «Чорт побери!», «Правильно сказано!», удивлялся, что крестьяне осмеливаются так громко говорить в конторе

богача-заводчика, куда сам он вошел на цыпочках, словно в комнату, где находился покойник. Гиг соблаговолил ответить этим людям, способным на дерзость:

— Здесь существовали старые обычаи. Вы их вдруг нарушаете. Прежде мы уговаривались по-хорошему. Теперь вы заламываете невозможную цену. Вы убьете и садоводство и промышленность!

— Сорок лет, — возразил Масс, — крестьянин таскал вам цветы, не зная цены, которую вы ему за них назначите. Вы заявляли нам в конце сезона: «Двадцать су за кило!». Нынче же мы предупреждаем вас раньше, чем на розах появились бутоны: цена будет десять франков! Вы отвечаете: «Надо уважать старые обычаи!». Старые обычаи для нас — это нищета! Мы не желаем этого больше! Отец мой, который всю жизнь поставлял вам цветы, сказал мне, лежа на смертном одре: «Я оставляю тебе долги. Это все, что я приобрел, тридцать лет проработав для фирмы Эдмонда Гига».

Лицо заводчика оставалось спокойным над великолепной стотысячной жемчужиной, воткнутой в его черный с белыми полосками галстук. Спокойствие Гига на мгновение удержало людей, собиравшихся наговорить кучу грубостей. Морен мог продолжать свое возражение.

— Мы желаем честно распределить нашу поставку среди всех владельцев заводов. Вы полагаете, что промышленность обойдется без нас? В таком случае, и мы обойдемся без вас! Мы, с нашими цветами, сами откроем завод на кооперативных началах.

Гиг не поддавался ни на горячность Массы, ни на благодушие Морена. Делегаты оставили его, не придя ни к какому соглашению, и выйдя из его дома, проклинали его:

— Да это не грасский заводчик, а просто живоглот какой-то! На миллионы, которые он заработал нашим

горбом, он создал себе дела по целому свету! Ему безразлично, коли Грасс умрет теперь, когда он высосал из него свое состояние. Отец его обкрадывал нас на цветах, но он никогда бы не посмел сказать, что в наших садах больше не будет роз!

Масс с ругательством обернулся к большому белому заводу:

— Убить Грасс! Самого тебя убьют!

Он перечислял, как преступления, предприятия и торговые конторы Гига:

— Завод в Бейруте, где он перегоняет розу и герань, два завода в Болгарии. Он занимается также мятой в Англии. Он выделяет кожи в Аргентине, ром — в Соединенных Штатах...

Они хвалили старого Гига, так долго державшего их в нищете:

— Он обкрадывал нас, но он не гнушался нами! Когда ему кланялись, он всегда отвечал. Сын его впервые говорил с нами сегодня так долго только для того, чтобы сказать, что грассовцев он считает ни во что!

Они ненавидели в нем не только человека, желавшего извлечь из них возможно больше выгоды, наследника парфюмеров-феодалов; еще сильнее ненавидели они того, кто презирал их труд и страну, кто рассеял по всему свету деньги, приобретенные благодаря грасским парфюмерным заводам. Поднимаясь по крутой и неровной дороге, они шумно рассуждали и бранились. Время прежнего рабства отжило. Крестьяне, еще недавно умолявшие брать у них товар, изнемогая под тяжким бременем корзин на голове и мешков на спине, и называвшие владельца завода «благодетелем», изъявили свою волю в конторе парфюмера, где еще оставались следы их пыльных ног. Гиг приказал вытереть пол. Явившаяся старуха вернула прежний блеск паркету «благодетеля».

На площади делегаты закончили свою горячую беседу и разговоры о том, что каждый из них собирается делать в Грассе. Рибери должен был заказать корзинки для жасмина, а Теуль — зайти за инструментом к слесарю на Новой улице; однако, он поднялся по крутой улице вплоть до завода Ксавье Массьера и К^о, к которому вели обсаженные ирисами аллеи. Мотыка итальянских рабочих выкорчевывала оливковые деревья, чтоб расчистить место для новых построек. Теуль, хорошо знакомый с местом, нашел Ксавье Массьера в конторе управляющего, находившейся в полном беспорядке вследствие перестройки завода: под этажерками со склянками и металлическими сосудами для готовых уже продуктов лежали мешки с сырьем: ирисовым корнем, душистой камедью, дубовым мхом, ветиверией, которой разбавляли фиалковую эссенцию. Мимолетные ароматы, подобные беглой улыбке на лице женщины, проносились в запахе отбросов от перегонки и бензина.

— В добрый час! Va bien? — любезно, по-провансальски, ответил Ксавье Массьера на поклон Жана Теуля, негодующие слова которого по адресу его соперника Гига пришлись ему весьма по сердцу.

— Он хочет убить Грасс, он плевать хочет на родную землю. Он говорит, что ему нужны только химикаты. Болгары и турки будут доставлять ему розовое масло.

Он советует нам посеять бобы, только потому, что мы спрашиваем десять франков за кило цветов! . . По какой цене возьмете вы, господин Массьерэ?

— Я дам на десять су больше синдиката заводчиков.

Жан Теуль, удовлетворенный, продолжал проклинать Гига.

— Человек, который нажил миллионы на грасских крестьянах, упорнее других не желает платить за цветы настоящую цену! Он из тех богачей, которые любят видеть вокруг себя только нищих. И это крупнейшая фирма Грасса, которая должна была бы подавать пример!

— Крупнейшая фирма Грасса,—сказал Массьерэ,—будет моя!

Он обожал ругателей. Он с наслаждением слушал, как поносят его конкурентов, но не любил признания их могущества. Он был чрезвычайно благосклонен к крестьянам, говорил с ними по-провансальски, давал вперед деньги. Он предложил Жану Теулю:

— Если вам нужны деньги до сбора — берите, потом сочтемся!

Он первый отрешился от обыкновения заводчиков властвовать над крестьянами, пользуясь их нищетой, и еще зимой выдавал авансы под майскую розу или августовский, жасмин. Он был наиболее популярным заводчиком. Жители Коллы не хотели отдавать своих цветов никому другому.

— Тысченка-другая всегда пригодится,—сказал Теуль.—Удобрение стоит дорого. Я предупредил Морена, что при распределении синдикатом поставки—все мои цветы предназначаются вам.

Сужая крестьян деньгами, парфюмер добивался гораздо большего порабощения крестьян, нежели обычным скряжничеством, которым душили садоводов.

— Морен сбивает вас с толку. Он много путешествовал и утратил добрый смысл грассовцев. А у них ему можно научиться лучше, нежели объехав вокруг света!

Теуль вышел, с удовольствием нащупывая в кармане деньги. С крутой дороги открывался на цветущую местность вид до самого Средиземного моря и Эстереля. Изгороди боярышника, сплошные, как укрепляющие дорогу стены, протягивали свои длинные ветви, одетые сверкающими белыми гроздьями. Внизу, над горделивыми и злобными шипами, из бутонов, таких же еще зеленых, как и листья, выглядывали прорезая их, готовые распуститься цветы. Дикие букеты источали на залитую солнцем дорогу горьковато-сладкий запах. Отцветающая мимоза желтым пятном выделялась среди алых оттенков шиповника, герани и первых роз, и белых — боярышника, маргариток и плодовых деревьев. На сливовых деревьях, цветы, сидящие на длинных ветвях, позволяли видеть ветку, тогда как миндальные, с тесно соприкасающимися лепестками, обволакивали сады сплошным трепещущим облаком. Возле радостных деревьев в пышном убранстве, маслины, поникшие под тяжестью темных плодов, покачивали ветвями, словно рассказывая о муках прозябания. Волны герани и глициний спадали со стен окружающих виллы садов, где гордо колыхались зеленые пальмы. Все, начиная от ближайших цветов и до последнего изгиба дороги, целиком доступной взору вплоть до места, где уже начиналось море, — все было негой и красотой. На уступах террас высились громадные купы различных растений: оливковые и апельсиновые деревья, кусты роз. Скала над Грассом чернела соснами. Внизу, под городом, тянулись орошаемые поля, изобилующие цветами и плодами. У подножия оливковых деревьев преобладал степной букет, рассеянный по капризу семян и ветра. Золотые лучи,

проникая в просветы листвы, пронизывали веселый луг, и молодая трава, у суровых, освещенных солнцем стволов, казалась путем в рай.

Высоко на террасе, за серой каменной стеной, к которой плющ прильнул колючим поцелуем, простиралось поле бобов с черно-белыми цветами. Равномерный, как дыхание, слышался звук крестьянской мотыки, ударявшей о красную землю. Удары становились звучнее, попадая на разбросанные там и сям камни. В этой стране, с сухой и жесткой почвой, не знали земледельческих орудий с широкими железными частями, вроде северной лопаты, годной для того, чтоб глубоко взрывать глинистую землю. Орудием здесь являлась кирка, которой можно было ее разрыхлять. Покачивая, под движением ветра, высокими ветвями, оливковые деревья заставляли солнечные пятна скользить по тенистому лугу. Деревья раскачивались над золотыми бутонами, белыми нарциссами и голубыми гиацинтами. То же богатство красок, что и в траве, было разлито и на террасах вилл, сады которых перекидывались за пределы своих стен. Длинные цветущие глицинии синими струями переливались через изгороди, свисая вплоть до пучочков маргариток, бледной пеной заканчивавших эту громадную неподвижную волну. Под миндальным деревом земля побелела от опавших лепестков. Вдалеке, Приморские Альпы погружали в задумчивую воду свои последние уступы. Наверху, над торгующим ароматами городом, начинались хвойные деревья, еще выше — лаванда, затем уже — высокие снеговые горы. Сто километров извилистого пути вели от этой волны, вдоль цветущих террас, к снежным вершинам. Тряские тележки подсакивали там и сям по каменистой дороге, вымощенной неровными плитами, по которым громыхали колеса. Нагруженная пустыми мешками из-под померанцевых цветов таратайка на мгновение побе-

ждала все остальные запахи, настолько кузов ее и рваная коричневая обивка были пропитаны благовонием. Прошла крестьянка с суровым лицом под широкой соломенной шляпой. Ее выцветшая от солнца одежда была того же серого цвета, как и старые камни, ограждающие поля. В худых и морщинистых руках она несла охапку сухих оливковых веток для своего очага. Посреди красот цветущей природы, она влачила свое старое жалкое тело с разбитыми от долгой работы над плодородной землей членами. Ясные сумерки бросали изумрудную тень под оливковыми деревьями, когда Теуль дошел до дороги, где Ренэ сидел, свернувшись в комочек, словно зверек в норке, под деревом, дружески оберегающим его уединение.

— *Qué fas aïci?* Что ты тут делаешь? — спросил отец.

Ребенок отвечал:

— *Rén!* Ничего!

Отец взял его за руку, и Ренэ пошел рядом с ним, оборачиваясь к террасе, где двое влюбленных — Поль и Дениз, — облокотившись над цветами, принимали на свой поцелуй благословение ночи.

Поль говорил любимой:

— Днем ты сказала: «Нас видно только солнцу!» Но как бы мы ни были спрятаны, свет — тот же взгляд. Теперь даже таинственному солнцу не открыть нас. Лишь один я различаю блеск твоих глаз. Я не могу больше сосчитать золотых искр. Ты словно окутана дымкой, и я не страшусь больше твоей красоты!

Распустив волосы, Дениза, целомудренная и сладострастная, покрыла ими лицо Поля.

Голова его, опутанная длинными прядями, покоилась меж ее грудей, и Дениза прижимала ее к себе сильными и нежными руками, окутывая его лаской и благоуханием.

— На теле моем нет места, до которого ты не коснулся бы губами. Ты взял меня, ты поглотил меня, и я трепещу еще и сейчас, как в тот день, когда ты впервые обладал мною! О, любимый больше всего на свете, я боялась, что ты умрешь на месте. Твоя рана окрасила кровью мое тело. Я не смела шевельнуться, я молилась за тебя!

«— Я была недоступной. Я гордилась, поступая не так, как все. Ты думал, что победил меня всем тем чудесным, что ты говорил мне, обещая счастье. Раньше,

чем ты приобрел силу заговорить в кровати, ты уже был властелином моей души, потому что я знала, что могу заставить тебя избрать между смертью и мною и что если бы я не полюбила тебя, ты не смог бы больше жить! Сколько раз твердили мне, что я красива; ты же, раньше, чем сказать мне это, дал мне постигнуть любовь, и гордость моя оказалась лишь предчувствием. Мне достаточно было только отвернуться, чтоб убить тебя. Теперь — моя жизнь в твоей!

Соединенные длинными прядями волос и жадными руками, они покрывали друг друга неутоляющими поцелуями. Охваченный снова страстью, он говорил:

— Я всегда остаюсь лишь у берегов твоей необъятности. Все сладострастие кажется мне лишь слабой тенью любви, возможной между нами. Когда постигну тебя всю?

Она прошептала:

— Что нужно тебе?

Женщина наполняла ночь благоуханием своего душистого тела. Оба они были лишь одной лаской и одной мечтой, проникая каждый в горячее тело другого. Она растворялась в нежности и горделиво смеялась тому, на что осмелилась: покинуть мужа, утратить доброе имя, уйти с любимым. Лишь об одном сожаление омрачало ее радость — утраченная прекрасная возможность познать Поля первым и единственным супругом.

С восторгом покоясь в объятиях мужчины, опустившего ее наземь в любовном безумии, она вспоминала о своей чистоте, оскверненной браком без любви. Выданная девятнадцати лет за Друара — «Кружева и вышивки, Лион», — она была верной супругой, посещала обедни и исповедывалась во всех своих грехах. Священники и пропахнувшие ладаном дамы заходили в контору, украшенную портретом Друара-деда, основа-

вшею фирму в 1821 году. Двери этой кладовой, где хранились золотые и серебряные нитки, не имели ручки и открывались лишь специальным ключем Друара и его компаньона Ода. Молодая женщина печально прозябала среди великолепия этого ремесла, сурово выполняемого ее мужем, человеком скрытным, трудолюбивым и тугим на слова, которые он произносил всегда одним и тем же тоном. Он чрезвычайно любил уединение. Стены его виллы на берегу Эны были в три метра высотой, чтобы соседи не могли заглянуть к нему, проходя мимо. Окна их квартиры в улице д'Алжер закрывались двойными ставнями. На них, кроме того, висели тяжелые драпировки. Друар очень не любил, чтобы жена его выходила на балкон, откуда можно было видеть Фурвьер. Потолок лестницы этого дома был украшен живописью, которую с трудом можно было рассмотреть — настолько глубоки были его каменные своды. Друар неустанно думал о процветании своего дела. Дениза продолжала молиться, не торжественно, в церкви, из коммерческих соображений, но в тишине, умоляя святую деву даровать ей счастье. Ей казалось, что она затеряна в этом беспроектном мраке, из которого ей не выйти никогда. Обращение к непорочной Марии, облаченной в лазурь и звезды, было сладчайшей радостью ее жизни, опутанной золотыми и серебряными нитями. Трепеща под взглядами мужа, она ждала откровения. Ежедневно обманываясь, она умоляла святую деву ниспослать ей любовь. Но воля к греху отсутствовала в ней. Мужчины тянулись к ее чудесному телу и восхитительному лицу. Она гнушалась избрать. В браке она познала объятия и грусть. Она пребывала задумчива и верна. Она не переставала надеяться на какое-то избавление. По утрам тревога угнетала ее; просыпаясь, она задыхалась, словно бежала. С каждым новым днем снова сочилась в ее сердце рана. Она

любила только солнце, молитву и музыку. На хоругвях, принесенных вышивальщицами общины святого креста, посреди атласа сияла святая дева в белой с голубым мантии, попирая нагими стопами полумесяц.

Денизу с детства научили безграничному поклонению святой деве. Жадные взгляды мужчин не смущали ее, так как ответить на их грубое желанье было бы для нее отвратительно. Но тот, кто пришел с поля битвы, открыл Денизе, что она была могущественнее смерти; уцелев в сражении, в ней одной, представшей его ослепленным взорам, видел он судьбу, позволяющую ему уцелеть и в любви.

По-сыновнему прижимался он к ней в восхитительной прохладе ночи. Между цветами и звездами, нежность их раскрывала крылья, позволявшие им подниматься над миром. Чудеснейшая жизнь трепетала в них. Они были поцелуем и ласкою. Дыхание любви, заставляя вздыматься их грудь, убаюкивало мужчину, восхищенно сознававшего себя богом. Благоуханием поднимался шопот растений. Заводы посылали садам запах цветов, обрабатываемых маслами, эфиром и паром. Но запахи, выдыхаемые ночной растительностью, были могущественнее тех, что исходили от заводов. Цветы живые побеждали затхлость мертвых. Влажная земля, в течение дня высушиваемая солнцем, теперь свободно поила мощью и свежестью рождающиеся из нее ароматы. Воздух был исполнен невыразимо-восхитительными и торжественными благоуханиями, восходившими к холму, пронизывавшими город и своей ночной властью побеждавшими его запахи. Аромат земли был ее молитвою. Поле маргариток походило на лунные пятна в потревоженной тени. Влюбленные повторяли друг другу сладостную музыку имен: он называл ее «Дениза», потом — «Дивная». Она отвечала — «Любимый».

Кругом ночь была одним безмерным лобзаньем. Ослепленные звездами, опьяненные ароматами, они обретали, каждый в горячем теле другого, бесконечную человеческую нежность. Окруженные мраком, где колыхались пальмы, Поль и Дениза хранили бога в своих взволнованных сердцах.

Короткая майская звездная ночь длилась всего лишь несколько часов. Утром, Огюст Андреис, кочетар на заводе Гига, живший в номере восьмом по улице де Мулинэ, громко спрашивал возле номера четвертого, где проживал его товарищ по работе, итальянец Чезаре Дамиано:

— Calés? Идешь?

Чезаре Дамиано отвечал:

— Calì! Иду!

Воскликания мужчин сопровождались стуком подбитых гвоздями башмаков о крутую мостовую. Кочегары являлись на работу первыми, чтоб освободить ночную смену. Вслед за ними из грасских лачуг выходили рабочие, направляясь к заводам, из которых только самые старые находились еще в черте города. Те, что перерабатывали цветы посредством нефтяного бензина, были удалены от жилищ. В прежние времена, рабочие могли дойти от своего дома до места работы в несколько минут и не выходя из своего квартала. Теперь же им приходилось подниматься или спускаться, идя к заводам, расположенным в ненаселенных местах, поближе к цветам и подальше от городских строений.

Заводы, соперничавшие между собой, как в деле найма рабочих, так и в деле закупки цветов, набирали людей, чтоб иметь их под рукой, когда начнется обработка розы. Стоило только одному из них увеличить

свой штат, как все начинали нанимать. Кто искал заработка, мог его найти.

Перед раскаленной печью Огюст Андреис вооружился кочергой и лопатой. Чезаре Дамиано подвозил на тачке уголь. Оба говорили по-провансальски. Итальянское население Грасса пользовалось смешанным наречием Генуи и Арля.

Огюст Андреис, служивший раньше кочегаром во флоте, превосходно владел искусством топки, умея давать наибольшее пламя при наименьшем сгорании. Задыхаясь от жары в своей стальной кочегарке, он прохладил свое тело на сквозном ветру, поднимая руки — прекрасный и страшный, поступая так всюду, кроме Красного моря, где воздух бывал так же горяч, как пламя, вырывающееся из топок. Чезаре Дамиано, работавший на консервных заводах, был обязан этому суровому человеку тем, что выучился его ремеслу, секрет которого заключался в том, что раньше, чем браться за кочергу, следовало размешивать мелкий каменный уголь: благодаря этому давление в котлах не понижалось. Андреис объяснил ему также, что такое синдикат и революция, казавшаяся ему самому прекрасной, как божество, увенчанное красными цветами. Святая дева в голубой мантии, усыпанной звездами, не была так ослепительна для какой-нибудь верующей, как Алый Мятаж для Огюста Андреиса. Дед его, родившийся в Ницце, имел обыкновение говорить: «Ai vistà doui homé: Garribaldi et Blanqui». («Я видел двух мужей: Гарибальди и Бланки»).

Огюст Андреис поступил на морскую службу, оставаясь верным ремеслу отца, бывшего корабельным грузчиком; подобным же образом и синдикалистом он стал по гарибальдийской традиции.

Исповедуя культ двух уроженцев Ниццы — Гарибальди и Бланки, — дед Андреиса, грузивший апельсины

и древесное масло, катавший бочки с вином и маслом и бывший марсовым на белых парусниках в синем море, отличался особенностью уроженцев Ниццы, говаривавших: «Siou pas Francés, siou pas Italian, siou Nizzarté! («Я не француз, я не итальянец — я ниццианец»!)

Он принадлежал к числу краснoblузников, участвовавших в Дижонской битве 24 января 1871 года и сражавшихся не за Францию, но за Джузеппе Гарибальди. Будучи уже старым, с седой бородой, он надевал на внука Гюста победный головной убор — «Lou bérété de Dijoun» (дижонскую гарибальдийку).

На похоронах старика, маленький Огюст, уцепившись за руку отца, шел, под звон колоколов святого Репарата, впереди процессии мужчин, одетых в красное. Он помнил возбужденный крик освободителей над могилой: «Эввива Гарибальди!», на которой стоявшие на коленях женщины отвечали: «Эввива!», точно «аминь» в церкви, и пошли затем молиться на могилу Аниты Розы.

Мятежная революция была для Огюста Андреиса религией отцов. Воспитанный в духе итальянских инсургентов, исповедуя культ Гарибальди, он восхищался на собраниях социалистов немецкой логикой, при помощи которой марксизм утверждал свою непогрешимость в деле обновления мира. В комнате его, между портретами Гарибальди и Бакунина, висел портрет Карла Маркса. Будучи артистом своего ремесла, Андреис обожал огонь. Уголь для него был черным мрамором, из которого он создавал огненные статуи.

— Нефть, — сказал он Дамиано, — течет из крапов. Если ее введут здесь, мы уйдем.

Старые приемы сурового ремесла нравились ему; он любил подбрасывать и мешать топливо, поддерживая жар на всем пространстве решетки.

Точный блоститель синдикальных такс, он распекал тех из записавшихся, у кого книжки бывали не в порядке. Кочегары были единственными специалистами на этих заводах, где работа была несложной. Заведующий быстро обучал рабочих обращению с кипяtilьниками и наблюдению за перегонными кубами; иначе обстоило дело с трудным искусством кочегара. Забастовка кочегаров влекла за собой забастовку всего персонала, занятого горячей мацерацией. Дух Гарибальди и Бланки подрывал спокойствие завода Эдмонда Гига, в лице Огюста Андреиса, с черными руками и потным лицом.

— Крестьяне, — сказал он Чезаре Дамиано, — запросили десять франков за кило розы. Нам платят пятнадцать в день. Если парфюмеры не прибавят нам, мы перестанем топить котлы для крестьянских роз. Пускай гниют цветы!

— Sicuro! Разумеется!

На сорок грасских кочегаров приходилось двадцать два итальянца. Они не могли быть столь же смелы, как провансальцы, так как полиция высылала их при первом удобном случае. Покорность их приводила в бешенство Огюста Андреиса:

— Вы, итальянцы, всегда поддакиваете! Однако, стоит заводчику свистнуть, как вы готовы бежать к нему на завод!

Оба кочегара работали над печью, снабжающей паром кубы, в которых перегоняли померанцевый цвет. Мужчины вилами переворачивали густую массу белых лепестков, высланных на асфальтовый пол. Они высоко подбрасывали их, чтоб проветрить их и помешать таким образом увяданию. И только одно это движение оживляло зал, с медной батареей кубов, работа над которыми была не утомительна, но требовала внимания. Носильщики, приносившие цветы с телег, увеличивали

светлую гору, переворачиваемую вилами. Померанцевые цветы могли оставаться в мешках, не чернея, четыре или пять часов. Совершенной белизной отличались только что снятые, доставленные грассовцами и положенные на весы. Цветы, привезенные из окрестностей и взвешенные на месте, были приматы, благодаря доставке на трясках тележках.

Из грубых джутовых мешков вываливались свадебные букеты, запах которых широко разлился по залу. Благодаря прекрасной погоде, цветы распускались хорошо, и крестьяне снимали их в большом количестве. Солнце подгоняло работу. Завод должен был переработать в тот же день все присланное из окрестностей. Мужчины, занятые перегонкой, видели, что кончат поздно, так как еще в четыре часа дня из Валлори прибыла телега, высоко нагруженная тремя рядами мешков. Рабочие вытряхивали белые цветы из корзин в кубы и затем вынимали их горячими, вываренными, годными лишь на выброс. Флорентинец-сортировщик отделял померанцевую воду, по четыре франка за литр, и эфирное масло, по восьми франков за килограмм.

Дымящаяся жидкость заключала в себе общую работу земли и солнца.

— Мы кончим к восьми, — сказал Антуан Жилли, подгоняя рабочих, чтоб не опоздать на собрание синдиката.

Рабочие заявили свое требование как раз в то время, когда началась перегонка свежих цветов. В продолжение тихого сезона, работа производилась над сухим материалом: далматским или варским дубовым мохом — основой для духов «Шипр», — ирисовым корнем, вентиверией, ладаном. Зимой заводы работали над пахучими и непортящимися веществами. В марте начинались цветы: фиалки, нарциссы, жонкилы; с мая по июнь — померанцы, розы и гвоздика.

Возле померанцевых цветов лиловели фиалки, сумрачные по сравнению со светлой грудой бледных лепестков. Над сладким благоуханием померанцевых цветов носился горьковатый запах скошенных фиалковых листьев. Заводчики, заваленные заказами, хватались за всякую пахучую зелень — цветов и лист.

В зале с кипяtilьниками и коренастыми гидравлическими прессами женщины заканчивали уборку для предстоящей работы над розой. Жир, подвергающийся перетапливанию в котлах, нагреваемых паром, присоединял к нежному запаху цветов запах бойни. Из американских бочек, с надписью: «Neutral Lard», рабочие черпали белую массу, чтоб распустить ее на медленном огне, процедить, сообщить ей аромат и оставить для затвердения.

Кирилл Риварэ, управляющий заводом, наблюдал за тщательной обработкой этого вещества, от совершенства которого зависел дальнейший успех фабрикации. За все семь лет, что он служил на заводе Гига, он ни разу не был так озабочен, как в настоящий момент, когда он начинал опасаться забастовки. Распоряжаться одетыми в замасленные фартуки женщинами, помещивающими деревянными лопатами распущенный жир, прибавлять туда необходимое количество бензола, препятствующего ему горкнуть, было для него естественным занятием в этот подготовительный к цветам период. Он прекрасно умел обращаться с цветами и совсем не умел обращаться с человеческими сердцами. Он искоса поглядывал на женщин, работавших, не поднимая глаз, желая сказать что-либо, что помогло бы сделать их снова покорными и поддержать таким образом дисциплину завода Гига. Он питал слабость к Марии Жилли, отец которой работал у перегонных котлов. Ей давались всегда самые легкие поручения; таким путем на заводе достигалась возможность сохранять

многочисленный штат за ничтожную плату. Робкая девочка, с кротким лицом, была бледной, так как жила в жалкой лачуге. Работницы не могли пожаловаться на Риварэ, но сильные и красивые девушки не одобряли его вкуса, удивляясь, что он выбрал такую худышку, только потому, что глаза у нее большие. Они вознаграждали себя, говоря: «У нее совсем нет задницы!»

Продолжая медленно помешивать жир, они внимали управляющему, поучавшему их уму-разуму:

— Я был бы очень рад, если бы вы могли зарабатывать больше. . . Я никогда не делал зла рабочему. Но, если вы собираетесь устраивать забастовку, я не буду в состоянии замолвить за вас словечко перед хозяином!

Он терпеть не мог, чтоб нарушались консервативные обычаи завода. Благожелательный к рабочим и добросовестный служака, он отдал бы все свое месячное жалованье — девятьсот франков, чтоб только избежать забастовки — вовсе не из рвения к интересам Эдмонда Гига и К^о, но вследствие своей нелюбви изменять что-либо в обычном строе жизни. Он резко сказал Полине Гасто, толстой брюнетке с сильными руками мужчины, которая одна, без всякой помощи, перетаскивала тяжести, гордясь своим могучим телом:

— Это вы взвинчиваете им головы!

Она отвечала:

— Я предпочла бы взвинтить мужчину, только не его голову, а что-нибудь другое!

Она искоса взглянула на него, и все засмеялись, чем он был весьма сконфужен; в таких случаях он становился обыкновенно резок на слова, как и всегда, когда замечал беспорядок среди персонала или несовершенство товара.

— Вы дождетесь того, что возьмут итальянок, а вы очутитесь на улице!

Она стала смеяться этой угрозе:

— Итальянки вам не понравятся! А мы отправимся собирать розы и жасмин на свежем воздухе! Кругом достаточно работы...

Девушки, боявшиеся потерять место и предпочитающие заводы полям, оставались серьезны. Другие громко разговаривали и смеялись, так как им предстояло исключительное развлечение, от которого они, вдобавок, ждали прибавки. В помещении, наполненном запахом жира и цветов, между рабочими начиналось волнение, вследствие чего весь завод пребывал в тревоге, которой не чувствовал, казалось, один только Шарль Борсетти, химик; он совершенно не интересовался затруднениями администрации. Риварэ поведал ему свое беспокойство:

— У нас, может быть, произойдет забастовка в самый разгар перегонки розы и померанцевого цвета.

Химик высказал по этому поводу точку зрения человека, всецело поглощенного лабораторной работой:

— Если опыты мои не удались — это было бы похуже забастовки!... Я хотел бы иметь пробу жира, который вы употребляете для горячего пропитывания. Мне не требуется ничего особенного. Дайте мне именно то, чем вы обыкновенно пользуетесь.

Борсетти верил в лабораторию, как в спасение для завода и даже для родины. Он говорил, что Франция в 1914 году, с ее двумя тысячами пятьюстами химиков и старыми приборами, смертельно рисковала по сравнению с Германией, у которой их было тридцать тысяч и прекрасно обставленные лаборатории. Он презирал цветы в парфюмерном деле, считая их несносным пережитком. Фанатически преданный своему ремеслу, он рассчитывал риторикой вытеснить все сады Грасса. Поразмыслив, Риварэ решил снабдить его материалом, испытание которого послужило бы к вящей славе производства.

Он пошел к себе в контору, с целью хорошенько поработать над некоторым количеством этого превосходного продукта; обстоятельство это отнюдь не указывало на то, что остальной жир обрабатывался менее заботливо и тщательно, но управляющие побаивались химика, и когда им приходилось иметь с ним дело, они совершенствовались уже сделанное. Риварэ этим закончил свой день, оторвавшись от дела только для того, чтоб пойти сказать работницам еще несколько слов, к чему его обязывало чувство долга:

— Не позволяйте же себя обманывать! Идите лучше прямо домой!

Затем следовали еще наставления, которыми он облегчил свою совесть добросовестного служащего.

Шаги рабочих стучали по крутым улицам, где в старых домах дрова и уголь пылали в глиняных очагах.

Огюст Андреис, войдя во двор номера восьмого по улице де Мулинэ, ощутил крепкий запах навоза. Куча, высотой в два метра, увеличивалась ежедневно, благодаря нечистотам, выбрасываемым сюда обитателями этого дома, без сточных труб и отхожих мест. Каменное здание обеспечивало людям только то, что и логовище зверю: кров. Единственное удобство этого строения, не имевшего даже выгребной ямы, состояло в защите от дождя и ветра. Но у жильцов его были все-таки несколько другие обыкновения, нежели у животных, оставляющих свои нечистоты в самом логовище, или возле него, предоставляя переваренной пище гнить на свободе. Различие между лачугой и логовищем заключалось в том, что из лачуги можно было выбрасывать нечистоты из окон. В этот час у входа бывало чисто. Дома, где не было канализации, извергали свои отбросы на улицу только ночью, но во дворе отправление естественных надобностей происходило круглые сутки. Над неубывающей свалкой номера восьмого в улице де Мулинэ, у стены, укрепилось фиго-

вое дерево. Растение земного рая росло среди мерзости запустения, столь щедро питаясь нечистотами, что зеленые листья на его серых ветвях распускались пышнее, нежели на деревьях в окрестностях. Оно процветало в этом месте, куда едва заглядывало солнце, над этой навозной кучей, стоявшей с незапамятных времен. Свежие экскременты светились в ней, жидкие и липкие.

Огюст Андреис охотно перенес бы портреты Карла Маркса, Джузеппе Гарибальди и Бланки в более комфортабельный дом, как, например, дом Чезаре Дамиано, снабженный на лестнице сточной трубой. Сточное отверстие было устроено на каждой площадке, но жильцы к жидким нечистотам присоединяли и всякие отбросы, благодаря чему трубы часто засорялись в местах соединений и пачкали стены.

Огюст Андреис разделял грасские дома на дома со стоком и дома без стока. Из строений, снабженных сточными трубами, нечистоты из окон не выбрасывались, зато, благодаря расположению города на холме, они бывали насквозь продушены зловонной водой с заводов, извергавших в канализационную магистраль потоки отбросов парфюмерного производства.

У Огюста Андреиса чувствовался всегда один только запах навоза, в доме же, где жил Чезаре Дамиано, пахло померанцевыми цветами и мочей. Перегонка не могла лишить всего аромата стойкие цветы, сопротивлявшиеся с такой энергией, что в жолобах, уносящих их вываренные трупы, смешанные с человеческими нечистотами, еще жило очаровательное благоухание.

Наиболее благоустроенным жилищем была квартира семьи Жилли. Трубы, проходившие, подобно дождевым, вдоль наружной стены, позволяли выливать помой в воронку, помещающуюся у самого окна, вместо того, чтобы выносить их на площадку. Достаточно было

закреть окно, чтоб в доме не чувствовалось зловония. В тех домах, где сток находился внутри, входящий извне воздух действовал очищающим образом; здесь же он отравлял. Старая Жилли находила удобным, чтоб водосточная труба была под рукой. Живя в третьем этаже, она не так страдала от засорения ее в тех случаях, когда жильцы бросали туда что-нибудь, что застревало и что можно было протолкнуть только палкой. Приходилось ждать, чтоб спущенное сгнило. Тогда оно проваливалось сразу. Благодаря сточным трубам, жильцы утрачивали старую привычку швырять отбросы из окна, как можно подальше от стен. Переполненные воронки пачкали их снизу доверху. Одна робкая старушка говаривала: «Теперь уж не умеют больше выливать грязную воду», так как она жила в тех улицах, где все выбрасывалось из окон, но таким образом, что выбрасываемое попадало прямо в ручей. Богатые жилища с клозетами и водопроводом бывали редки в старом Грассе. Зажиточные семьи помещались в столетних каменных домах, лишенных этих удобств, благодаря которым не надо было утомляться,нося воду наверх, и выбрасывать нечистоты из окон.

Старая Жилли весьма чисто содержала свою квартиру, занимавшую весь этаж и состоявшую из трех комнат, из которых одна выходила на улицу; чтоб попасть в две другие, окнами на двор, надо было перейти площадку. Имея право пользоваться последней, она могла сидеть там, держать там сундук или какие-либо другие вещи, которые было не так легко украсть. Этой привилегией пользовались исключительно жильцы квартир о трех комнатах, платившие по сто тридцать франков за этаж, но им не разрешалось ставить на площадке ничего, что препятствовало бы проходу. Дом этот был одним из наиболее широких по

фасаду в этой улице; другие, в которых было лишь по одной комнате с каждой стороны лестницы, походили скорее на башни.

Благодаря заработку мужа, сына и дочери, работавших на заводе Гига, семейство Жилли могло удобно расположиться в своих трех комнатах — одной на улицу и двух во двор — и кухне: четыре окна на четырех человек. В иных местах люди спали впятером в одной каморке с крошечным окошком. Этаж этот принадлежал торговцу Томбарелло, имевшему бакалейную лавку на Плас-о-Зерб; владелицей второго была некая Гайро, проживавшая на свои средства в Новой улице. Над первым этажом Гиг, получивший в наследство часть недвижимости в старом городе, велел вывесить объявление: «Этот этаж продается». Такое обилие владельцев тормозило починку труб, когда последние вследствие засорения труб, лилась грязная вода из помещения Жилли, кричали:

— Вы могли бы уведомить вашего Томбареля!

Старуха Жилли отвечала:

— Засорилось у вас. Надо сказать госпоже Гайро!

Вследствие сходства фасадов, ряд старых каменных построек казался одним сплошным зданием. Убедиться в том, что это отдельные дома, можно было только благодаря обилию смежных дверей.

Старая Жилли деликатно выражалась, что квартал пропахнул «ядом». Она открывала окна только для того, чтоб вылить воду. Вкрадчивое зловоние заплесневелых стен и почвы, пропитанных нечистотами, царило в доме, где Жилли проживали в продолжение двенадцати лет, чем и объяснялась бледность и хрупкость их дочери, так пленившей Ривара. Ему нравился в ней этот отпечаток жалких лачуг — бледность кожи, не знающей солнца.

Мария Жилли медленно подымалась по красным ступеням лестницы, обшитым деревом и совершенно ободраным от хождения. Она положила в кухне маленький сверточек с жиром, взятым из котла — до того, как его сдобрили бензоем и ароматами. Прекрасный продукт находил себе отличное применение для кушанья, которое старая Жилли стряпала в глиняных горшках. В парфюмерном деле приходилось иметь дело с продуктами, весьма пригодными для стряпни: оливковым маслом, жирами. В домах рабочих частенько превкусно пахло жареным, что вознаграждало за запах керосина и нечистот, исходивший из наклонных жолобов, по которым уносились истерзанные цветы.

Старая Жилли любила состряпать что-нибудь хорошенькое: похлебку из мелко нарезанных овощей, приправленную чесноком, базиликой и пармезаном. Она с бесконечным терпением шинковала начинку, чтоб нафаршировать капусту или тыкву. Когда она бывала богата по воскресеньям, она отваривала лангуста или камбалу; когда же бывала бедна — треску или мерлана. Древесный уголь в кирпичном, скрепленном железом, очаге метал снопы искр; яркое пламя бывало одного цвета с горизонтом, видневшимся из этого окошка кухни. Слово на холме пылал костер. Заходящее солнце заканчивало еще один лишний день для многих людей, равнодушных к красоте мира, так как в теле их было утомление, а в душе мятёж.

В улицах, между гадкими высокими домами, видна была лишь узкая полоска неба; люди могли его видеть не больше, как из колодца, но погруженные в свои заботы, они опускали головы и отказывались и от этого. Опуст Андреис и кочегары, Антуан Жилли и рабочие парфюмерных заводов, большая группа женщин, с Полиной Гасто во главе, шли в зал, где должен был говорить

секретарь синдиката, маленький человечек с дрожащим голосом, по фамилии Мюсс.

На возвышении, освещенном электрической лампой, он смело выступил перед всей этой публикой, готовой еще раз с удовольствием выслушать то, что каждый из них говорил себе ежедневно, а именно, что заводчики наживают состояния, что крестьяне зарабатывают много и что рабочие продолжают прозябать в нищете.

— Мужчинам раньше платили три франка, женщинам двадцать пять су. Так началось обогащение промышленников. Во время войны плата поднялась до пяти и до двух франков. Нынче же, товарищи, вы можете существовать — мужчины на одиннадцать франков и женщины на шесть с половиной. Мы в тисках между заводчиком, который не оплачивает нашей работы, и крестьянином, который дерет с нас за продукты. Наш заработок целиком остается на рынке, где цены растут с каждым днем. Заводчик и крестьянин высчитывают, сколько они наживут на нас; мы же рассчитываем, сможем ли мы быть сыты.

Толпа за дверьми говорила приблизительно о том же. Молодежь обещала проучить рыночных торговцев. Из дремлющих окрестностей благоуханное дыхание долетало до зловонного города. В густом мраке передвигались люди, жаждавшие справедливости.

За исключением улицы, которую они оживляли своим присутствием, все кругом было темно в Грассе. Редкие невидимые прохожие стучали каблуками по неровным камням переулков, в тени высоких домов. Освещенные окна прорезали эту колодезную тьму, совершенно сгущавшуюся под крышами, которыми соприкасались фасады.

Ясная ночь, расцвеченная звездами, озарила луной, еще невидимой за холмами, где освещенные окна, находившиеся на большом расстоянии друг от друга,

указывали на то, что здесь расположены богатые дома с обширными садами. Пробило полночь, время поцелуев на цветущих террасах и возмущения в сердце рабочего.

В Эдеме Дениза шептала Полю слова непреходящей нежности:

— Ибо я изнемогаю от любви.
Левая его рука у меня под головою,
А правая обнимает меня.

Поль показывал Денизе старый Грасс. Она несла с собой лучезарность счастья. Встретив Маргариту Бертолотто, она ласково попеняла ей на то, что она проходит мимо так быстро:

— Вы очень горды в своем квартале!

— Мой квартал — улица Рев-Вьель ¹⁾.

Очарованная этим названием, красавица направилась к нищим домам. Поль давал ей восхитительные объяснения.

— Эти улицы были проложены обитателями, вероятно, раньше римской эпохи. Город выстроен на скале. Он оставался на том же месте в продолжение тысячелетий. Подумай только о всей той любви, которая обитала в этих камнях!

Фонтан на улице Шарите-Вьель выбрасывал прозрачную воду, в тени, возле стрельчатой двери, абрис который понравился Полю:

— Она достойна собора! Эти люди устроились, как господь бог — среди готики.

В самом низу домов, лавчонки лоскутников, торговцев тряпьем, кроличьими шкурками, тонули во мраке, не позволявшем видеть очертания предметов. Разглядеть можно было только то, что висело у входа.

¹⁾ Улица Давней Мечты.

Дениза, проникнувшись уважением к древности и в восторге от сумбурной картины, слушала Маргариту, которая заменила Поля в его археологических объяснениях:

— Грасс — это плохо посеянная деревня, которую господь бог обронил между пальцев. Улица называется Шарите-Вьелль, потому что в пятом номере была больница. Теперь его сдают рабочим. Дом без воды, но жильцы очень аккуратны, как и во всей улице. Они ничего не выбрасывают из окон, но все опорожняют по вечерам в фонтан. Тут не приходится ступать по навозу. В других местах люди такие свины, что способны сгноить камни.

Восторг Поля перед древностью Грасса заставлял забывать эти отвратительные подробности.

— Эта старина потрясает! Римские legionеры любили здесь галльских женщин. Эти камни были, может быть, современниками проповеди Христа!

— *Grassa vieille*, — сказала Маргарита, — была выстроена, когда Христос уже прошел по земле.

Она предложила ему осмотреть церковь.

— Она богаче собора святой Репараты в Ницце. Есть вещи из чистого золота.

Старая работница опустилась на колени перед святой девой. Дениза смиренно склонила перед ней свое прекрасное тело таким трогательным движением, что сердце Поля взыграло от любви. Опустив голову, она продолжала свою восхитительную молитву, потому что Поль целовал ей затылок.

Надпись «Свят, свят, свят» над главным алтарем приходилась над пассажем Гран-Пьюи, трижды смрадным, благодаря удобству, с которым там, в месте, защищенном от дождя, можно было отправлять естественные надобности, под сводом, где покоилась дарохранительница.

У дома торговца свечами две зимние дачницы беседовали о своих собачках:

— А у нее есть документы?

Слова эти, от которых пахло жандармом, обидели вопрошаемую.

— Она стоила мне пятьсот франков в Лизьё!

— Носик у нее совсем серенький!

— Он черный на самом деле. Это она так побледнела!

— Верно у нее болят зубки.

— У меня был маленький грифон, который в сутки умер от острого воспаления кишек...

— Я никогда их не купаю. Я вычесываю их щеткой. Ветеринар сказал мне: «Из ста воспалений легких — девяносто восемь вызваны купаньем». Шерстка их не может так скоро просохнуть. Моя малютка чересчур пушиста. Трудно ей придется летом! Мы поедem в Дакс, на грязи. К шерсти еще не так все пристаet, как к лапкам. Здесь комары, в Даксе муравьи...

Кочевницы, каждый сезон меняющие местность из соображений удовольствия или здоровья, перечисляли отели, где им особенно хорошо жилось:

— Я желаю, чтоб собачке моей подавали на серебре, как и мне. Я уехала из одного пансиона, где ей приносили суп в таком глиняном горшке, в каких они здесь стряпают себе...

Бедные похороны направились к церкви. Розовые лепестки венка, осыпаясь с тряских дрог, оставляли на земле цветущую дорожку.

Столярные и железные мастерские, изготавливающие ящики и бидоны для парфюмерных заводов, находились в нижних этажах старых домов. В подвалах стучали молотки. Пламя лудильщика сверкало в темноте, яростно раздувалось меха. Стены, среди которых люди трудились в течение многих лет, сохраняли следы

и запах дубильного экстракта и масла. Холмистый город, подрытый ищущими себе приюта старыми ремеслами, скрывал под сумрачными лачугами темные берлоги. Меднокотельные мастерские звенели котлами, кубами и ушатами из металлов цвета серебра и золота, по которым били молотами рабочие в синих блузах.

Маргарита, гордясь тем, что служит проводником богатой и щедрой чете, увлекала ее в переулки, где незачем было вытягивать в обе стороны руки, чтоб коснуться стен. Довольно было раздвинуть локти. Перед номером вторым по улице де Мулине она сказала:

— Наверху в этом доме уже никто не решается жить. Внизу давно живет один старик. Трудно расставаться со старыми привычками. Двое погибло там наверху. Одного нашли совсем высохшим, другого съели черви.

Окна, с выбитыми стеклами, были затянуты паутиной. Ткачи-добычники заботливо ловили мух среди полного запустения. Любопытная, но не слишком смелая Дениза, не решалась переступить порог, боясь увидеть что-либо страшное; она заглянула внутрь, где было так темно, что она не могла различить стен.

Пьемонтка сказала:

— Однажды, войдя вечером в этот дом, я чуть не задохлась. Смотреть надо и руками и ногами. На лестнице не хватает ступеней, все деревянные части сгнили. Но камень еще держится.

Итальянки и провансалки, выглядывая из своих окон, украшенных базиликой и геранью, здоровались с Маргаритой. Они приветливо зазывали к себе и расхваливали свои конуры: «Mountrés Grassa vieilla? Показываете Старый Грасс? Показываете Роашье? Вот тут можно хорошо пройти. . . Нет, мы не можем жаловаться».

Любопытная чета богатых входила на приглашение полюбоваться лачугой и попадала в темноту, где нельзя

было различить светлых пятен лиц. Женщины узнавали друг друга по голосу: «Siés vous, Margarita? Это вы, Маргарита?»

В улице Оратуар, крутая, похожая на приставную лестница, отвесно, без поворотов, вела в первый этаж. Видны были только первые ступени. Верх ее исчезал во мраке высокого дома. Поль умерил свои археологические восторги, заметив огорчение Денизы при виде обездоленных людей. Она прижималась к нему, словно в опасности. Чей-то звонкий смех раздался в конуре. Радостная итальянка, сверкая белыми зубами, появилась у окна: черные ее волосы блестели над красной гвоздикой, стебли которой были подперты воткнутыми в горшок камышевыми палочками.

Дениза обрадовалась этому веселью. Маргарита выбирала ей самый удобный путь вдоль улиц, вымощенных неровным камнем, разбитым колотушкой и принявшим самые причудливые формы — от полулуния до треугольника.

— Здесь, — сказала она, — вчера собирались забастовщики. Кричали до полуночи. Не слышно было, как бежит вода в фонтане: так они шумели и галдели.

Улица Де-ла-Фонтен представляла собою длинную асфальтовую лестницу, что для подъема было удобнее, нежели булыжная мостовая. Перед харчевней, где в бочке мокла соленая треска, седая женщина с завернутым в лохмотья младенцем на руках поздоровалась с Маргаритой, посочувствовавшей той:

— Четверо таких маленьких! Вам их не вырастить! Это вам не под силу!

Женщина со слезами склонилась над рукой сердобольной Денизы.

— Она взяла детей покойной своей дочери, которую бросил муж, потому что она плохо вела себя во время войны.

Дениза дала женщине столько денег, что та не могла удержать их в руках. Маргарита, сборщица цветов, получавшая семь франков в день, поблагодарила богатую красавицу за ее доброту. Итальянка рассказывала Денизе о позоре женщин во время войны:

— В нашей улице одна молодая девушка была беременна. Мать лечила ее от малокровия. Девчонка таилась до последнего дня. Когда мать увидела, в чем дело, она остолбенела — два часа была она без сознания!

Дениза удивлялась, слушая старуху, с такой печалью говорившей ей о женской распущенности, которую она полагала обычной и распространенной среди обитателей этих лачуг. Суровая крестьянка порицала бесчестье женщины.

— Во всех кварталах Грасса были скандалы, и у меня на родине, в Италии, тоже. Никогда не бывало ничего подобного, и никогда этого так мало не стыдились.

На площади Францисканцев, работницы парфюмерного завода парами несли глубокие корзины с померанцевыми цветами. Шары, бросаемые играющими, затрудняли продвижение женщин. Маргарита сказала, что на этом месте, ставшем теперь площадкой для игры, она видела могилы. Монастыри этого города лачуг, бывшего некогда епархиальным, служили местом погребения. Маргарита рассказала, что рабочие вырыли целый воз черепов, роя землю для закладки Нового театра. Древнее кладбище, все поросшее травой, находилось позади церкви Оратории. Живые и мертвые сгрудились на этом холме, и лачуги ютились над гробницами.

Название улиц: улица Сестер, улица Францисканцев, улица Оратории указывали на древнее монастырское поселение. Епископальную улицу Маргарита прошла быстро, несмотря на интерес, который вызывала у Поля старинная резиденция князей церкви. Он понял, что

пьемонтке было больно видеть четкий номер в крутой улице, где раньше находилось обиталище церковной аристократии. Маргарита показала «l'houstoï dé li Rouman — римский дом», считавшийся самым древним в Грассе. Крепкие, похожие на крепость, строения на Прямой улице, с богатыми лавками, задней стеной упирались в вонючие переулки. Колонны с капителями украшали лестницу, ведущую к готическим конурам, переделанным из древнего монастыря. Лестницу дома королевы Жанны, номер третий на Плас-о-Зер, поддерживали наполовину развалившиеся кариатиды.

Старая работница показала отвратительные на вид дома, где, по семейным преданиям, жили некогда семьи Гигов и Массьера, чьи потомки проживали теперь в виллах на холмах с оливковыми деревьями. Пьемонтка с похвалой отзывалась об их происхождении: «Они грасские», желая этим сказать, что они вышли из тех же лачуг и что прадеды их в этом зловонии положили начало громадным состояниям теперешних богачей.

В семь часов утра в окрестностях бывало уже жарко, но прохлада царила во дворах старого города, куда веками не заглядывало солнце. Дома даже в самое знойное лето сохраняли прохладную температуру гробниц. Под перекладами, перекинутыми из окна в окно для просушки белья, святая дева, ютящаяся в нишах домов, рукой, облеченной в лазурь и золото, благословляла смрадные улицы с журчащими фонтанами.

Маргарита Бертолотто сказала:

— Я круглую ночь слышу, как бежит вода. Если какой-нибудь прохожий прерывает ее бульканье, чтоб напиться, я просыпаюсь.

В этом квартале Роашье, отбросы, валяющиеся на земле, изблечили время года: в мае это бывала чечевичная шелуха, в августе — дынные корки, в сентябре —

очистки фиг и круглый год — кофейная гуща и высохший помет.

Чудесные запахи исходили от дома агента парфюмерной фирмы.

Деревянное яйцо упало с колен штопавшей чулки женщины и покатилося вниз по наклонной улице.

Стучали белые от пыли башмаки крестьян и хорошо начищенная обувь лавочниц. Пот высыхал на лицах поселян по мере того, как они вступали в город, тонувший в тени.

Пьемонтка отказалась принять от Поля деньги, которые он предложил ей в благодарность за услугу.

— Это слишком много. Я ведь работаю. К счастью для бедных, сюда приезжает много богатых людей. Здесь много капиталистов. Баронессе Ротшильд принадлежит весь холм возле Риу-Бланкэ. Ее имение — самое обширное из старо-грасских. Она ежегодно жертвует тысячу франков на благотворительные дела.

Безобразная итальянка продолжала знакомить их с нищетой, терпеливо и любезно, как если бы была самой баронессой де Роашье.

Дениза задумчиво шла рука об руку с Полем. Стара с ее четырьмя внуками напомнила ей о том, что и она должна была бы краснеть. Счастье ее было слишком велико, чтоб его стыдиться; она хотела бы им гордиться пред лицом всего света, но, проклиная родными, не могла того. Если бы ей довелось стать невестой Поля во всей чистоте своей девственности, она познала бы совершеннейшее людское счастье. Но в набожной душе супруги, бежавшей с любовником, оставалась тень. В первое время войны, Дениза Друар тревожно молилась за своего мужа, находившегося в смертельной опасности. Она порицала бесчестие тех, кто начинал уже думать о любви. «Наш героизм — верность!»

Один фабрикант-пехотинец, извещенный анонимным письмом об измене жены, матери двух детей, лишил себя жизни в окопах. Дениза Друар горделиво пребывала среди преданных жен, думавших только о страданиях раненых, для которых госпиталь не был местом свидания с мужчинами. Но самая старая из дам-патронесс говорила:

— Эта война слишком продолжительное испытание женской верности.

Освобожденные от присутствия мужей, они усиленно предавались прелюбодейству. Под предлогом частых посещений церквей, они занимались распутством, над которым сами только посмеивались, оправдывая свое любопытство тем, что «ничего не поделаешь — война!»

Одиночество супруг было обставлено соблазнами. Родина разбивала семьи. Прекрасный раненый на койке номер сто двадцать шесть всякий день брал руки Денизы в свои, повторяя обожаемой женщине молитву:

— Взгляните на меня, и все озарится светом. Благословенно страданье, подарившее мне ваши заботы. Я люблю терзающие меня раны, потому что они отдали меня вам. Наши судьбы свершились среди страданий мира. Уйдем вместе! Я обрел самое большее, на что человеческое сердце может надеяться!

Старая патронесса наставляла сестер-волонтерок:

— Бесчестие женщин стало столь же обычным, как и страдания мужчин. Нас уже не возмущает больше такое количество изувеченных. Над человечеством проходит война с ее страданиями, насилием, ежеминутной смертью и безнадежной любовью. Я молю бога, чтоб на свете осталась хотя бы одна святая, чтоб помочь женской душе воскреснуть.

Дениза внезапно подчинилась решительному движению этого раненого, от которого ее прекрасное и сильное тело легко могло бы защититься. Не он склонился

над нею: она сама потянулась к нему пламенно, впервые познав сладострастие в трепете этого воскресшего из мертвых, медленные ласки которого сопровождались стоном. Радуюсь своей неосторожности и близости к нему, она повела его к себе домой, где закрытые ставни бросали тень на громадный букет роз. Она дрожала от тревоги, отдаваясь задыхающемуся, и сама протянула страдальцу свои прекрасные груди, чтоб он мог вкусить от них, подобно раненой птице. Необъятные крылья понесли их над пропастью наслаждения.

Дениза поверила в могущество своей красоты и в силу сладострастия. Мир изменил для нее окраску. Среди бедствий войны самка вновь приобретала свободу. Над разрушающимся миром лик древнего Эроса расплывался в страшную улыбку. В божественном зверстве ласк Дениза, трепетная и стыдливая, прислушивалась к радостному безумию любовника, готового погибнуть, обладая ею.

Од, уволенный от военной службы и остававшийся в Лионе, еженедельно посылал анонимные письма своему компаньону Друару. Дениза получала от мужа письма, полные отчаяния и проклятий, нацарапанные карандашом, под грохот разрывающихся снарядов. Она не знала больше ни страха, ни жалости. Прежняя жизнь отошла и рухнула в бездну презрения. Почему же не любил он ее, этот фабрикант золотых и серебряных кружев? Не владел всем ее существом, и, не боготворя ее, он научил Денизу лишь спокойной покорности, вместо восхитительной муки, перед которой нельзя было устоять.

Священник на койке, где умер маленький бретонец, бредил: «Братство... Сестра моя—вода!... Брат мой—ветер!... Убийца мой—человек!...»

Обросший колючей щетиной, он поднимал к Денизе худой указательный палец:

— Твоя сестра — война!

В саду Эдема Дениза вздрагивала возле Поля и закрывала глаза, вспоминая их первое объятие. Она молилась. Своему счастью она жаждала благословенья свыше.

Трепет ее век и ускоренное дыхание выдало ее волнение любовнику. Он опустился перед ней на колени:

— Ослепительная, ты для меня солнце! Тень от век твоих способна раздавить меня! Открой глаза, и если ты молишься — благодари бога за то, что он содейл мне из тебя рай!

Уста восхищенной душой и телом женщины повторяли символ веры ее обновленной души:

— Верую в Любовь, создательницу неба и земли...

Распростирая над упоенной четой свои крылья, острый и могучий вставал над ними благословляющий аромат цветов.

Ксавье Массьера, сидя у себя в конторе, рассматривал хрустальный флакон с золотой надписью: «Розы» — последнее создание фирмы Тиса, в Париже, относительно которой рассказывали, что один из провансальских заводов, перегоняющих померанцевые цветы, должен был, по контракту, заключенному на тридцать лет, поставлять ей все производимое им нероловое масло. Грасские заводчики не любили владельца этой фирмы, приобретшего среди них такое значение, но никто не относился к нему так недоброжелательно, как Массьера, убедившийся, что первенствовать в Грассе — не значит еще быть на вершинах французской парфюмерии. Массьера был сторонником самостоятельных действий и решений. Чрезвычайно скрытный в своих желаниях и фанатически стремящийся к господству в Грассе, он ненавидел товарищество. Людей своей специальности он подразделял на две категории: он и остальные. Каждый грасский заводчик думал относительно себя то же самое. Основным стремлением Массьера было наследовать известность фирмы Гига. С этой целью он выстроил завод, рассчитанный на самые совершенные способы производства.

Более значительная слава, нежели закатывающаяся слава Гига, представлялась мечтам Массьера — слава Тиса, обладать волшебным флаконом которого стремились все женщины мира.

Мысль о промышленном товариществе или объединении всех французских парфюмеров — Париж и Грасс — показалась бы Массьера низостью, отступничеством. Его коммерческая гордость состояла в том, чтоб не нуждаться в других. Всякий другой человек, занимающийся одним с ним делом, мог ему быть только врагом, никак не другом.

Поводя под носом клочком бумаги, свернутым в трубочку и смоченным духами, он черпал в совершенстве этого изделия новую ненависть к Тису. Он ненавидел всех, чьи произведения оказывались лучше его собственных. Между тщеславным заводчиком и душистым флаконом с золотой надписью происходил безмолвный диалог. Ревнивый к своей торговой репутации человек раздумывал, как бы воспрепятствовать Тису запастись эссенциями на территории Грасса и не позволить ему в области жасмина и розы того, в чем ему посчастливилось на померанцевых цветах. Раздумье Массьера было прервано появлением Жана Теуля, сообщившего ему о другой большой неприятности — о забастовке. Крестьянин боялся, что заводчики оставят цветы в садах, если рабочие не выйдут на работу.

— Господин Массьера, если рабочие уйдут — мы, садоводы, придем работать у перегонных кубов. Не пропадать же цветам!

Гнев его выражался не голосом, так как он из уважения к Массьера говорил тихо, но движениями, которые он продлевал руками и головой.

— Сегодня утром рабочие опрокинули корзинки наших женщин. Они прибежали за нами в поля. Эти бездельники говорят, что мы продаем им все слишком дорого, а сами восемь часов сидят, сложа руки, перед котлами. За них все делает машина. Мы же, земледельцы, до зари беремся за мотыку!

— Полно, здесь забастовки не будет. Тащите розы! Забастовка — это для других!

Он твердо верил в это, так же, как и в то, что никто из его рабочих не оставит работы, и что крестьяне не откажут ему в цветах, так как он здоровался с ними за руку и говорил с ними на местном наречии, желая утвердить будущее своей фирмы на популярности.

— Если мои рабочие чем-либо недовольны, они скажут мне это сами.

Заявление было сделано не ими, но Мюссом, секретарем синдиката, пославшим всем владельцам заводов одинаковые письма с требованием повышения платы до пятнадцати франков в день для мужчин и девяти для женщин.

Массьерà столкнулся лицом к лицу с фактом, смысл которого не сразу стал для него ясен: с профессиональной солидарностью. То обстоятельство, что люди, занимающиеся одним и тем же ремеслом, объединяют свои интересы, несмотря на то, что работают у различных хозяев, казалось ему бессмыслицей. В затруднительных случаях он не имел обыкновения обращаться к своим помощникам и сначала обдумывал дело сам.

Смотря на заголовок письма:

*Синдикат рабочих и работниц парфюмерных заводов
в Грассе,*

он видел перед собою секретаря этого профессионального союза — Мюсса. В своем уединении он разбирал противников: в Мюссе он видел тщеславного человека, гонящегося за популярностью и увлеченного неправильной мыслью — профессиональным объединением. Этому Массьерà противопоставлял свою правильную мысль о том, что рабочих связывает только работа у одного хозяина. Это дает им право обращаться к тому, кто оплачивает их труд. Слава фирмы была выше всего.

Массьерà был в ней не только хозяином, но и служащим, первым работником, думающим о ней день и ночь. Ему вовсе не требовалось держать деньги под спудом. Но для дела ему необходимо было иметь самый крупный капитал в Грассе. Он весьма дорого платил за свою одежду и в галстук носил драгоценную жемчужину. Но это было формой, а не делом вкуса. Он охотно засучил бы рукава, работая над цветами, и нередко портил свое платье, возясь с товаром.

Он принадлежал к тем старым грасским буржуазным семьям, которые плохо одевались из соображений экономии, никогда не позволяли себе никаких развлечений и думали только о работе и о том, как бы разбогатеть; эти люди с горделивым обожанием относились к собственным детям и ненавидели семьи соперников. Массьерà гордился всем, что принадлежало к его дому, от малейшего винтика на перегонных кубах вплоть до жолобов, по которым спускались отбросы. На его письменном столе все предметы были расположены в величайшем порядке: прекрасно очиненные карандаши лежали на подставках, бювар — на самой середине стеклянной доски; подобный же безукоризненный порядок должен был быть и на заводе, и Массьерà наблюдал за этим, будучи знаком со всеми машинами, со всеми аппаратами. Рвение это проистекало не из жадности наживы. Ради репутации фирмы он готов был возиться с детем. Все его мысли вертелись на одном: как бы восторжествовать над другими. Он не думал ни о чем ином — ни о политике, ни о любви. Ему хотелось, чтоб и рабочие его поступали так же. Он отличался от них лишь одеждой, но балагурил с ними добродушно, как с равными, так как он не чванился перед теми, кто работал с ним вместе. Звать рабочих по имени не только не стоило ему никакого труда, но было для него необходимо. Он был добрым хозяином, главою

производства и умел ценить и уважать хорошо выполненную работу.

Он спросил женщин, работавших над жирами, и мужчин, насыпавших цветы в перегонные кубы:

— *Avés rén à mi diré?* Вы ничего не имеете сказать мне?

Работницы опустили глаза, а рабочие ускорили темп работы, как будто опасаясь, что устремленный на хозяина взгляд или праздные руки дадут ему повод остановиться возле них. Массьерра чувствовал, что его избегают. Он был горд, чтоб заговорить с ними первым. И он резко спросил их, обращаясь к рабочему, прослужившему на заводе пятнадцать лет, по имени Анжу Гальдани:

— Вы хотите устроить забастовку?

Человек, нагруженный корзиной с лепестками, откуда лился поток благоуханий, отвечал:

— Не я, а синдикат.

Массьерра решил, что рабочий разделяет его образ мыслей, и поздравил его с этим обстоятельством:

— *Va ben. Nén siés pas?* Отлично! Значит, вы там не состоите?

— *N'en sien touï.* Мы все его члены, — отвечал Гальдани, для которого забастовка была не личным его желанием, а приказанием. Он оправдывался тем, что было так нестерпимо для хозяина — профессиональной солидарностью.

— У меня на заводе, — сказал Массьерра, — заработная плата выше, чем у кого-либо другого в Грассе. Говорите же, я вас слушаю!

— За нас говорит синдикат!

Собрание хозяев состоялось на заводе Гига. Враги в деле закупки цветов, парфюмеры объединились для отказа в увеличении платы.

— К чему, — спросил Массьерра, — принимать делегатов синдиката? В конторе фирмы Эдмонда Гига могут бывать только ее рабочие!

Довольный тем, что высказал свое правило относительно рабочих, он выпрямился во весь рост, что поддельно всегда, когда говорил от имени своей фирмы.

Члены синдиката явились, настроенные решительно. Их энергичный образ действий с крестьянами придал им смелости для переговоров с промышленниками. Мюсс прибежал с злобной радостью, но он не захотел идти один. Он потребовал, чтоб его сопровождали делегаты, на обязанности которых лежало проверять и одобрять все его действия. Жадно стремясь к популярности, он знал, насколько она обманчива, памятуя пример своего предшественника, Пьера Феррари, которого синдикат мог упрекнуть разве только в том, что он слишком долго и ревностно служил интересам общего дела. Одно и то же лицо надоедало, и рабочие говорили: «Не вечно один и тот же!» Феррари не было в числе делегатов, избранных обездоленными и преисполненными надежд и подозрительности рабочими.

Люди, оплачивавшие труд, приняли тех, кому они платили, сидя. Гордости хозяев Мюсс противопоставил дерзость рабочего.

— Вы получили наше требование: пятнадцать франков в день мужчинам и девять женщинам. Мы передадим ваш ответ на усмотрение товарищей.

Он выполнял данное ему поручение без всяких отсчетов, чтоб не скомпрометировать своей популярности. Хотя ему и была поручена судьба целого союза, он не мог не опасаться за самого себя, подвергая себя нападкам как со стороны рабочих, так и со стороны хозяев.

Гиг отвечал:

— Подобные способы переговоров неприменимы в Грассе. Всякий может сделаться в двадцать четыре

часа рабочим на парфюмерном заводе. Мы берем людей из Италии и Марселя; прибыв вечером, они завтра же становятся на работу. Но дело известно нам, а не им. Кому здесь не нравится, тот может уходить. Мы считаемся с вашей свободой.

Перед Мюссом одобрительно закивали головы работодателей. Позади него шептались делегаты. Тогда он преступил свой мандат, уполномочивавший его только на получение ответа, и заговорил громко:

— Вы хотите, чтоб все делалось только по вашей воле и чтоб вам доставалось богатство, а нам нищета. Отныне у вас должно быть отнято право единолично назначать цену за работу и распоряжаться в Грассе. Заработная плата является результатом обсуждения всех лиц, занятых в производстве, а не устанавливается по прихоти незначительной кучки людей. Мы не анархисты. Мы желаем, чтоб ремесло опиралось на право. Это несправедливо, чтоб вы были миллионерами и ни в чем не нуждались, когда нам вы буквально не даете возможности жить, отказывая в пятнадцати франках в день мужчинам и в девяти — женщинам. Итак, вы не согласны?

Хозяева предпочли бы обсуждать заработную плату, как цену на товар, а не как акт справедливости. Крестьяне, говоря с ними о цене на цветы, не требовали от них признания новой морали, как это делали рабочие. Смущенные этим тревожным знамением времени, заводчики почувствовали себя крепко сплоченными, не столько для защиты своих капиталов, сколько для защиты культа богатства, который рабочие противопоставляли культу справедливости.

Мария Теуль, срезая для Денизы первые розы, сказала ей:

— Завтра, если рабочие не забастуют, мы понесем их в мешках в Грасс.

Влюбленная женщина, в восхищении от букета, наслаждалась ароматом. Трепетанье век выдавало ее сладострастие.

Она улыбалась своим мыслям, вызванным в ней нежным благоуханием.

На террасе Эдема лепестки побледнели в красных губах молодой женщины. Поль схватил цветы, придавшие еще большую сладость поцелую влюбленных. Он упивался запахом роз и устами Денизы. Она не думала больше ни о чем.

Она бросила лепестки на воду бассейна. Солнце, отражая их очертания на мраморном дне, создавало в ясной воде мозаику теней.

Во взгляде Поля Дениза прочла, что не она одна владычица его мыслей. Он признался ей в этом.

— Брат мой, Гюи де Бракэ-Саатр, желает, чтоб я помогал ему в делах. Он спрашивает, излечило ли солнце мою рану? Содержание имения стоило дорого, во время войны он продал несколько участков леса, и очень выгодно. Затем он вступил в компанию с одним из покупателей, оказавшимся весьма порядочным человеком. Они основали «Общество лесных заготовок».

Гюи предлагает мне сделаться управляющим. Несмотря на выгодную продажу леса, состояние наше уменьшилось. Надо работать.

Эти суровые слова огорчили Денизу.

— Я для тебя уже не все. Ты смеешь думать о богатстве, вместо того, чтоб целовать меня. Что требую я от тебя, чтоб ты желал разбогатеть?

Из-под длинных ресниц молодой женщины готовы были покатиться слезы. Он понял, как это было бы кощунственно хотя бы на миг ограничить такую совершенную любовь.

— Есть одна только мудрость — обожать тебя! Душа моя соблазнилась наживой. Ты благороднее меня, Брекэ-Саатра. Твоя любовь — честь, которую я на минуту забыл. Мать моя говорила: «Бракэ-Саатры не работают: они женятся!»

Показывая ей оливковые рощи, он вспоминал свое детство:

— Я вырос под громадными деревьями, в нормандском замке, где находились портреты людей, весело умиравших в сражениях. Делать безумства ради женщины было в глазах их доблестью. Их призвание ограничивалось родиной и любовью. В них жил рыцарский дух.

Боготворимая женщина снова просветлела. О роще он говорил с ней теперь только как о приюте любви.

— Я возьми тебя туда, когда солнце меня излечит, а это будет скоро! Прекрасные деревья были моей первой страстью.

На дороге, позади оливковых насаждений, они услышали крики рабочих, споривших, обсуждая справедливую плату за свой труд.

Крестьяне-садоводы были чрезвычайно встревожены распоряжением заводов доставлять им цветы в ограниченном количестве. Три четверти рабочих не вышли

на работу. Оставались только итальянцы, которым грозили высылкой, если они бросят работу. Владельцы заводов, отказываясь от всякого посредничества, соглашались платить двенадцать с половиной франков мужчинам и восемь женщинам. Фирма Ксавье Массьера объявила, что все бастовавшие рабочие будут приняты обратно. Рабочие вернулись, эгоистически удовлетворившись прибавкой. Мюсс, огорченный этим крахом профессиональной дисциплины, сказал Огюсту Андреису:

— Рабочие впервые бросили работу, чтоб потребовать справедливости. Они не будут протестовать против увольнения товарищей. Хозяин кинул им кость, и они спешат на завод, стараясь опередить один другого. Рабы, радующиеся звуку своих цепей! Маленькая личная выгода делает их отступниками. Но одно мгновение они были единодушны. Корпоративное сознание одушевляло их всех. Оно воскреснет. Да здравствует синдикат!

— Эввива! — отвечал Андреис.

На заводе Гига, управляющий получил приказание отделаться от болтливых синдикалистов. Он приступил к этому с невольной мягкостью, так как был человек незлобивый. Он дал им штопать мешки, работу, которую давали новичкам, так как он знал, что руки работниц не вынесут подобного унижения. Полина Гасто, которой велено было перебрать корни ириса, вытащила все, напоминавшие своей формой фаллус, и разложила их по порядку. Она называла их «птичками».

Затем ей было приказано подмести мастерскую. Она схватила метлу и предложила инженеру:

— Покажите мне, как это делается?

Он спросил ее:

— Что вы — издеваетесь надо мною, что ли?

— Никогда бы не осмелилась!

Она села верхом на метлу, чтоб проскакать в контору, где расчет ей был уже приготовлен. Ей хотелось работать на давяльне. Это было трудное мужское ремесло, которое ее несколько не пугало. Расположение города на холме позволяло пользоваться водой, чтоб приводить в движение водяные колеса. Прежде существовало много давялен. Теперь же в городе их оставалось мало. Их перенесли в деревни, к водам потоков, так как грасские воды истощались, благодаря огромному потреблению заводов, занятых перегонкой цветов.

Полина Гасто направилась к ближайшей давяльне, хозяин которой, старый Марселен Арно, презиравший цветы и духи, был ей знаком. Он говорил:

— Грасс — сторона лучших оливок. Плохое масло идет из Вара.

Ему были известны все сорта олив: круглые варские или ванские; крепкие варские, годные для соления, но дающие грубое масло, нередко зеленое, так как варская оливка, с плотным мясом, горьковата на вкус; снимать их следует еще не зрелыми. Грассовцы не употребляют грубых сортов масла, они признают лишь маленькую овальную оливку — «грасовку», дающую наилучшее в мире масло.

С горечью смотрел Марселен Арно на то, как духи побеждают оливковое масло. Он кричал губителям, выкорчевывающим оливковые деревья, чтоб посадить вместо них цветы: «Вы сами уничтожаете свое богатство!»

Парфюмерную промышленность он считал мало надежной. В оливковое же дерево он верил, как в некое деревенское божество, как в гения местной земли, плоды которой давали крестьянину свет и пищу. Жители альпийских деревень, затерянных высоко в горах, холодная земля которых родит только рожь и картофель, спускались иногда, чтоб обменять их на масло

для стряпни и освещенья. Быстрые ручьи Ле, Лу, Ле-Вар, Ле-Маньян снабжали силой давяльни и уносили оливковые выжимки. Когда к морю притекала потемневшая вода — там знали, что на холме заняты изготовлением масла.

Марселен Арно никогда не переставал надеяться на свои маслины. В продолжение двадцати лет и ленивые и скупые на плоды деревья давали мало, и крестьяне повырубали их, чтоб засадить все это залитое солнцем пространство растениями, приносящими больше пользы: цветами, виноградом и овощами. Но за последние три года деревья перестали лениться, и те, за которыми был тщательный уход, так же как и те, что росли без призора, подобно терновнику, давали обильные плоды. Вид деревьев изменился, благодаря огромному количеству черных ягод среди бледносерой листвы.

Марселен Арно, владелец давяльни, радовался своей непомерной работе. Оливки доставлялись возами; вялые, упавшие с деревьев, лежали отдельно маленькой темной кучкой. Груды спелых, разбухших от сока, блестели на красных плитах. Редкие зеленые плоды изумрудами украшали черную массу. Полина Гасто, засучив рукава, загребала оливки деревянной лопатой и спускала их по желобам к жерновам, работавшим внизу, на уровне земли.

Маслины могли неделю оставаться в сыром помещении, прохладном, несмотря на солнце, накалявшее этот дом у воды, которая получала начало там же, где и ручей, питающий бассейн Денизы, куда она бросала розовые лепестки. Быстрый поток бежал между скалистых утесов, заставляя колыхаться прибрежную траву, подходившую вплотную к воде. Прозрачное фиговое дерево склоняло зеленые молодые листы над подвижным блеском, увлекавшим солнечные лучи.

Марселен Арно спросил Полину Гасто:

— Bella filla marida tésta, ti plas l'aigua? Ti plas l'oli? Послушай, красавица, сорви-голова, любишь ты воду? Любишь масло?

Она была счастлива на этой маленькой давяльне, где работало четверо мужчин. Мятажность ее как рукой сняло. Древнее ремесло победило ее своим спокойствием. Ей всегда хотелось смеяться, хотя платили ей лишь восемь франков; на заводе она проповедывала, что женщина должна получать вдвое больше.

Она называла Марселена Арно «Mestré», тогда как Кириллу Ривара дала насмешливое прозвище «пташки». Мятажная душа ее успокоилась. Она говорила старику хозяину:

— Mi plasès! Вы мне нравитесь!

Он отвечал:

— Я слишком стар. А ремесло мое еще старше. Нравится тебе давяльня?

Давильня ей нравилась, а завод она ненавидела. В продолжение тысячелетий масло добывалось одним способом. Жернова попрежнему походили на те, которые приводились в движение руками рабов. Слепой Сампсон трудился над подобным приспособлением — одним из первых достижений человечества. Сила воды заменила людскую тяготу. Стремительные потоки работали вместо рабов, которых бичами заставляли вертеть каменное колесо на круглом жернове, куда ссыпались оливки. Способ давить маслину между двумя камнями мало изменился со времен пещерных людей, раздавливавших черные плоды между кремнями наподобие того, как они дробятся зубами. Жернова воспроизводили работу челюстей. Звук деревянных колес говорил о древнейшем изобретении человека. Разница между давяльней и парфюмерным заводом, где цветы попадали в кипящий жир и бензин, противоречие между примитивными способами работы и новейшими техническими

усовершенствованиями — отразились на характере работницы. Старая патриархальная давяльня радовала и покоряла ее; завод удручал и возмущал. Химия и механика все сильнее изменяли парфюмерную технику. Масло же текло из плода, раздавливаемого, как и тысячи лет назад, между двумя камнями. Благодаря разнице орудий производства, два lika работы соприкасались в этой цветущей стране. Маслина и роза укрощали или раздражали людей.

Вода весело вертела колесо, заставляя его делать срок оборотов в минуту. В результате медленного трения получалась черная масса, которая укладывалась в мешки из кокосовых волокон. Их клали под пресс, и из-под него текло чистое масло.

Жмыхи, вновь положенные под жернова, давали масло второго сорта — мыльный клей.

Питалуга, агент фирмы «Буа, Муре-Брю и Бавека, Оливковое масло, Ницца, улица Джофредо», говорил, указывая Марселену Арно на потемневшую и пахучую от промывания оливковых выжимок воду, вышедшую из давяльни:

— Вы теряете таким образом масло, вы теряете...

У него была привычка повторять фразы. Он не говорил: «Ну, как выживаете?», а «Ну, как выживаете, какживаете?»

Он опасался, что его не поймут с одного раза. Он объяснял словами все, что делал, поясняя малейшие свои жесты: «Я беру хлеб, я беру», «Мне хочется пить, мне пить хочется».

Это был болтливый человек, каждая фраза которого начиналась: «Что касается меня, я...».

По частию, он говорил быстро, и если бы пустословие его было медленным, он не имел бы времени ни спать, ни есть. Он был знатоком своего дела и часто говорил весьма дельные вещи. В своем двойном темпе

Когда двадцать литров оливок стоили шесть франков, мы давали вам на десять су больше. Нынче то же количество стоит пятьдесят франков, и мы даем вам на десять франков больше. Я заплатил шестьдесят Жану Теулю. Жена его носит серьги. Когда отец его продавал свой урожай фирме Гига, у него не хватало хлеба, чтоб заедать салат из томатов и чесноку.

Владелец старой давилъни, ненавидевший, подобно Питалуге, заводчиков-садоводов, выразил удовольствие по поводу высоких цен на масло:

— Если бы меня спросили перед смертью, чего бы я пожелал, я ответил бы — чтоб оливковое дерево обогатило крестьян. Так оно и случилось. Я буду доволен, умирая. Я слышал, как отец мой и отец Теуля жаловались, что маслины ничего не дают. Они говорили: «Оливковое дерево съедает землю, а нам есть не дает». Деды наши были свидетелями мороза в 1820 году: днем дождь, ночью мороз, деревья, мокрые днем, замерзали ночью и под конец погибли. Их пришлось вырубить и вместо них посадить новые. «Оливковые деревья давали лишь немного масла для томатов и для лампы. Теперь же это дерево счастья.

Слушая Марселена Арно, радовавшегося торжеству маслины, Полина Гасто распевала среди роз, благоухание которых окружало старую давилъню.

В саду Жана Теуля Маргарита Бертолотто собирала цветы вместе с грасскими девушками, которые заткнули углы фартуков за пояс, в виде карманов, куда их проворные руки опускали розы, прохладные на ощупь утром и теплые к вечеру. Пьемонтка подвязала вокруг талии джутовый мешок. Цветы, оттопыривая фартуки трех наклонившихся женщин, придавали им вид беременных.

Теуль подрядил еще и Терезу Мерль, — Терезуну или Зуну по прозвищу, — которой было тридцать девять лет и которой выпало на долю не слишком много радостей. Муж ее, солдат 7-го стрелкового пехотного полка, был убит в 1915 году, а двое детей — девятилетняя Франсуаза и семилетний Дезирэ, были слишком малы, чтобы помогать ей в уходе за жасмином и розой, приносящими столь скудный доход, что она продала свой клочок земли, находя более спокойным работать на других и пользоваться пенсией солдатской вдовы. Себе она оставила дом и уголок сада, чтоб разводить томаты и перец. Она могла теперь видеть в окно, как собирают принадлежавшие ей раньше растения и цветы, одним своим урожаем покрывающие всю вырученную ею от продажи земли сумму — восемь тысяч франков, которые, будучи помещены в пятипроцентную государственную ренту, приносили Терезе только четыреста франков.

Она потеряла в весе три кило в два месяца. Жилы выступили у нее на костлявых руках, гладкие раньше виски ввалились.

Тем не менее, она не отослала прочь маленького Жаннена, питомца Общественного Призрения, от которого ей было мало проку с тех пор, как она работала на других. Она говорила мальчику:

— Если ты будешь непослушным, я отошлю тебя назад!

Тогда он и двое ее собственных детей начинали так плакать, что она поскорей целовала их, говоря:

— Это я нарочно сказала, чтоб он был умницей!

Она привела их с собой собирать розы Жана Теуля.

Пространство в два гектара величиной спускалось в виде трех ступеней, подпертых каменной кладкой. Наверху Жан Теуль работал над годовальными кустами, подарившими ему первую весну — четверть всего сбора, благодаря орошению.

Источник Де-ла Фу, с 1824 года находившийся в распоряжении города, давал раньше только скудное орошение; оно улучшилось в 1889 году, благодаря присоединению ручья Фулона. Правильная поливка, которой способствовал и Сиань, благоприятствовала растительности, но в сухие лета из-за воды разгорались распри. В знойную пору ни одна из рек, берущих начало в ледниках, не способствовала орошению этой местности. Города оспаривали друг у друга источники, крестьяне считали каждый литр воды. Теуль клялся, что сторож, наблюдающий за водоснабжением, уже не давал ему одного литра в секунду, на что он, Теуль, имел право, платя за это семьдесят франков в год.

Пререкания между похитителями воды, открывавшими затворы больше, чем следует, оживляли деревни в этот год засухи. Вопли: «*Priés toute l'aigua!* Забрали всю воду!» оглашали сельские улицы.

В местностях, лишенных орошения, цветы на розовых кустах появлялись только на втором году. Теуль сгибал свое длинное туловище над невысокой зеленой молодых кустов. Женщинам не приходилось так наклоняться, работая на двух крайних ступенях, где находились семилетние розовые кусты, вытянутые в линию на расстоянии одного и трех четвертей метра друг от друга, для того, чтобы дать место овощам, после того, как будут сняты розы. Глядя на бутоны, сидящие на высоких стеблях, можно было рассчитывать на богатый сбор, но многие из них засохли. Крестьяне не могли сказать — почему? Один утверждал, что это от воздуха, от тумана. Другой — что это от почвы, что вся беда заключается в корнях. Растение, за которым они так умело ухаживали, было для них все-таки непонятно. По своей непостижимой воле, оно дарило их надеждой, и вслед затем разочаровывало. Садоводы чувствовали свою зависимость от произвола растительных соков, подчинявшихся неведомым законам. Плодоносная и, вместе с тем, эта гибельная тайная сила выгоняла почки цветов, с тем, чтоб погубить их. Розы в это лето были малочисленней, нежели маслины. Беспризорное дерево, за которым не было никакого ухода, наливало плоды на каменистой почве; на розовых же кустах, лелеемых, как любимое дитя, подстригаемых, окуриваемых — погибла половина бутонов.

Жан Теуль, обрабатывавший землю по заветам отцов, обращался с растениями так, как это веками делалось его сородичами. Когда он был ребенком, мать его, обирая кусты, сажала его между ними. Теперь он сам наклонялся над растениями. Он не был фермером, занимающимся разведением скота, человеком, способным заставить животное любить себя и бояться: он был крестьянином-садоводом, преданным цветам. Но они были для него большею загадкой, нежели овца или коза

для альпийского пастуха. Он видел, как на нижнем конце его сада растение коченеет в ту ночь, когда другие, наверху, широко раскрывают листья, нисколько не страдая от холода. Розовые кусты держались у него прекрасно на неорошаемых местах по пятнадцати лет в глинистой почве и по восьми в известковой. На орошаемых местах насаждения процветали по двадцати лет. Он знал, какие места наиболее всего расположены на холмах Грасса. Он знал все, что мог знать местный старожил, и растения, тем не менее, удивляли его. Склонившись над пучком, вчера еще обещавшим пышно распуститься, он пытался узнать, почему соки внезапно иссыкли на нижних ветках, где сидели самые высокие бутоны, тогда как верхние расцвели, несмотря на то, что их прикрывали листья. Старый крестьянин не знал, что ему делать. Вращивая розу в местности, изобиловавшей цветами в продолжение многих столетий, он огорчался перед непостижимой тайной растительности.

Масс, по ту сторону стены, говорил ему:

— *Es l'aigua!* Это вода. В этом виноваты корни!

Теуль возразил:

— Коли в этом виноваты корни, то почему же бутоны, спрятанные внизу под листьями, расцветают, а на верхних ветках сохнут?

Оба крестьянина задумались.

Несмотря на страсть Массы говорить, он был подавлен этим непонятным обстоятельством и молчал. Это дало возможность Теулю высказать мудрое суждение:

— Это воздух, это вода! Это вещи, которых мы не знаем, но которые мы можем узнать. Каждый из нас обрабатывает свой сад по-своему, но все мы предпочитаем уваживание. Синдикат получает разнообразные удобрения, но разве я могу сказать, какое из них годится для моего участка? Я этого не знаю. Только один навоз годится повсюду. В Грассе нет опыт-

ных садов, где дети мои могли бы научиться тому, чего я не знаю. Если заводчики займутся плантациями, они достигнут большего. У них будут ученые, которые исследуют землю.

Масс развел руками:

— Я перебрал свой сад кочку за кочкой. Не ученые тут нужны, а работники. Еслиб мы не пробыли пять лет на войне, бутоны на розовых кустах не погибли бы. Цветы пострадали вследствие недостаточного ухода. Но война научила нас смелости. Мы добились восьми с половиной франков!

Он ударил кулаком по серому камню стены.

— Теперь незачем перекидывать!

Он говорил о том времени, когда цветы отдавались по договору. Садовод обязывался в течение семи или девяти лет поставлять цветы по условленной цене. Боязнь не продать была так велика, что крестьяне сажали цветы, лишь подписав условие. Им нужен был хозяин для работы и уверенность в том, что в продолжение девяти лет им будет обеспечен сбыт розы по тридцать су за кило. Рядом с запроданными цветами, росли «свободные» цветы более смелых крестьян, назначивших цену каждый год. В те годы, когда Теуль должен был поставлять фирме Гига розу по одному франку и жасмин по два, у Массы были цветы для вольной продажи, которые он продавал по пяти. Тогда мешки Теуля перебрасывались через стену, чтоб дать последнему возможность заработать на них по три франка за кило. В те же годы, когда за вольные цветы платили всего десять су, Масс обращался за тем же к Теулю, чтоб получить на кило тридцать су больше. Сады с самыми дорогими цветами оказывались и самыми обильными. Перекидывать мешки через стену было хитростью крестьян в отношении заводчиков.

Эпоха многолетней кабалы отошла в прошлое. Судебный пристав не являлся уже по утрам для подсчета цветов. Дух свободы уничтожал старые формы наживы. Землевладелец не находил больше арендаторов, которые отдавали бы ему половину урожая, продавали жасмин по франку за кило и собирали бы маслины исполу. Мелкие земельные собственники должны были теперь или сами возделывать свою землю или продавать ее. Никто из крестьян не возобновлял контракта с заводчиками. Все хотели ежегодно назначать цену, вместо того, чтоб устанавливать ее один раз в девять лет. Масс и Теуль говорили о том, что они надеялись выручить за жасмин. Садоводы-синдикалисты опять вели новые переговоры с владельцами заводов, раздраженными повышением цен на все сорта цветов, начиная от пармской фиалки, стоившей теперь тридцать шесть франков вместо одного франка семидесяти пяти сантимов, как это было в 1912 году, жонкилей, поднявшихся с пятидесяти сантимов до семнадцати франков, майской розы, вскочившей на восемь с половиной франков вместо трех, и августовского жасмина, продаваемого по двадцати франков, вместо прежних семи с половиной.

У Массы и Теуля, возле розовых насаждений, были подрезанные плантации жасмина. Драгоценные кусты могли или погибнуть в продолжение первых четырех лет младенчества или стать столетними. На многолетних плантациях виднелись пустые места.

Испокон веков, с тех пор, как человек обрабатывал эту землю, направление борозд на ней было всегда одним и тем же, чтоб поместить растение на солнце. На террасах, поддерживаемых каменной кладкой, до сих пор еще работал старый плуг с одним лемехом, без колес, который крестьянин приподнимал плечом из борозды в борозду и который упряжные животные тащили вокруг стен.

— Грасская земля, — сказал Масс, — устала от жасмина.

Теуль прибавил к этому суждению соображения о влиянии предшествовавшей растительности:

— Когда я был мальчишкой, здесь росло фиговое дерево, там — персиковое. Отец посадил жасмин. Через восемь лет растение, которое было на месте персикового дерева, погибло, а два года спустя тля появилась на том, которое находилось на месте фигового. Старые корни гнили в земле. Я говорю сыновьям: «Никогда не сажайте жасмин там, где раньше были деревья. Надо знать прошлое почвы».

Мысль Жана Теуля о гибели молодых растений благодаря гниению старых свидетельствовала о размышлениях его над таинственными и непостижимыми для него явлениями, причин которых он не знал. Этот педант относился к своим умозаключениям так же осторожно, как и какой-либо ученый. Упорно размышляя, он разбирал тождественность причин:

— Если розовые бутоны умирают вследствие истощения почвы или гниения корней, то почему же жасмин в десять локтей вышиной погибает в десяти различных местах на одной и той же плантации, когда все розовые бутоны на длинных стеблях погибают на всех грасских холмах одновременно? Есть нечто такое в воздухе и в почве, чего мы не знаем!

Смирясь перед непостижимым, он был склонен внимать советам ботаника скорее, нежели Масс, самонадеянно полагавшийся на свой опыт. Древняя молитва богу Пану и культ оплодотворяющих ручьев несколько не расходились с его желанием видеть в Грассе школу садоводства. Любовь к доходным растениям была в нем сильнее самолюбия и уверенности в своем умении обрабатывать землю. Перед пустыми местами среди кустов жасмина он говорил:

— Отец должен был хорошенько все сжечь, перерыть землю, глубоко забирая, разрыхлить ее и насыпать извести повсюду, где были корни; ведь не погибает жасмин там, где раньше была трава, которую заступ вырывает с корнем. В земле оставили смерть!

Это размышление заставило его относиться к своей работе с той же фанатической внимательностью, с какой Ренэ относился к красоте небес. Тело Жана Теуля было обременено трудом, а душа занята была созерцанием. Он беспрестанно раздумывал над своей работой, и над работой деда и отца. Он размышлял над жасмином, над розой, над оливкой, над добрыми и злыми силами в образе земли, ветра и солнца, которые подчинены растениям.

Возмущаясь людьми, вынуждавшими его жить в нищете, он во всем был послушен природе, каковы бы ни были ее веления. Он не бранился при виде больных деревьев.

Мешок, наполненный розами, был уже прислонен к стене Теуля. Сборщицы добрались до нижнего выступа сада. В надвигающихся сумерках женщины наклонялись над зеленой кустов, откуда им улыбались распутившиеся розы. Алые, взрощенные знойным днем, они пропитывали ароматом вечерний полумрак, озаряя его блеском драгоценных камней. Холмы возложили на себя рубиновые диадемы.

Чтоб дойти от Жана Теуля до своего маленького домика, Зуна должна была сделать большой круг, благодаря обширности владений баронессы Ротшильд, занимавших все это место, — единственное, где город мог бы удобно развернуться, оставаясь на том же уровне над морем. Прекрасное имя это, где старая дама проживала со своими слугами, было крупнейшим в Грассе, в котором насчитывалось двенадцать тысяч жителей.

Маленький Жаннен, утомленный добровольным собиранием роз, повиснул на руке Франсуазы, которая никогда не жаловалась на него и всегда говорила: «Он такой славный мальчик!»

Они сели на краю дороги, откуда был виден громадный парк виллы «Виктория» — жилища баронессы Алисы — и флигеля, где проживали многочисленные ее слуги, настолько ей преданные и так ее оберегавшие, что за все время ее долгой жизни они не позволили сесте на нее и мухе.

Садовники и батраки этой взыскательной женщины, выраженные ею в синие блузы и красные шляпы, тщательно расчищали аллеи, хотя ее важные стопы не попирали этих дорожек по целым годам. Она владела обширным участком земли, обойти который не смогла бы в один день, так как передвигалась с трудом, но ей хотелось простереть свои владения дальше, чего она, однако, не могла выполнить, так как препятствием ей в этом деле являлись город Грасс и член Французской Академии де Круассе, ставшей ее соседом. Она ненавидела какую бы то ни было близость. Рядом с рабочими, прозябающими в забронированных от свежего воздуха конурах, она поддерживала свое аристократическое уединение, охраняемое самым строгим образом, в чем Зуна могла убедиться, когда появился бритый лакей, заявивший ей: «Дорога эта принадлежит госпоже баронессе. Она позволяет проходить по ней, но не разрешает здесь останавливаться. Звук голосов беспокоит ее, когда она изволит отдыхать после чаю в беседке. Надо уходить».

Он благосклонно прибавил: «моя милая», чего не заключалось в приказании, которое он должен был передать. Казалось, он был не прочь побаловать лакомством Франсуазу, Дезире и Жаннена, пустившихся в путь впереди Зуны, так как она постоянно беспокоит

лась о своих детях и никогда не позволила бы им итти позади себя. Утомленные собираньем цветов, они шагали по земле баронессы. Они были напуганы и торопились уйти подальше от этой виллы, обиталища изверга, занятой впродолжение пяти месяцев и пустовавшей, подобно всем виллам зимних дачников, в то время, когда работники парфюмерных заводов особенно густо скоплялись в лачугах старинных улиц.

Опасная богачка, захватившая место, где мог бы развернуться город, удерживала, благодаря своему чрезмерному богатству, семьи рабочих в помещениях, грозивших им гибелью.

Но любвеобильное сердце Зуны, нежно привязавшейся к маленькому Жаннелу, было обширнее всех имений баронессы Алисы.

Утром тележки, запряженные мулами, тянулись к заводам, подвозя вчерашний сбор, нередко выдаваемый за утренний, чтоб оправдать то обстоятельство, что цветы тяжелее от росы. Приемщики фирмы Гига выкликали вес мешков. Несмотря на то, что многие бутоны высохли, крестьяне заносили в свои записные книжки сумму в пять тысяч франков за половину урожая.

Рабочие, которые чуть было не дали погибнуть этому богатству, теперь покорно занимались своим делом. Руки их старательно проделывали привычные движения. Роза прибывала в Грасс на тележках или на головах носильщиков, обливавшихся потом под своей ношей в жаркое утро. Дождя не было уже две недели, но все цветы были влажными.

— Это роса: собираешь до позднего вечера!

— Роса из лейки! — отвечал приемщик, отмечаящий количество кило по восьми франков с половиной.

Владельцы заводов, которые стали бы слишком строго относиться к крестьянскому обману, поставлены были бы в необходимость отказаться от части доставляемого им товара в пользу фирм, смотревших на эти проделки сквозь пальцы.

Привычка обманывать, приобретенная садоводами в нищете, оставалась у них и тогда, когда они достигали благосостояния.

Масс, поставлявший Гигу, дал приемщику следующее пояснение:

— Немножко росы есть, по счастью! Кто заплатит нам за высохшие бутонь? А работать над погибшими цветами приходилось столько же, сколько над теми, что остались.

Хороший заработок вызывал в нем желание заработать еще больше. Он считал количество кило по восемь с половиной франков, утраченных благодаря неудаче с розами.

Из Коллы и Муана-Сарту прибыли грузовики, нагруженные наиболее ценной для эссенции майской розой, и другие из Бордигеры, с двумя тоннами розы «Брюннер» по два франка за кило.

Весною цветы распускались во всех странах, и экспорт срезанных цветов приостанавливался. Садоводы, выгонявшие раннюю розу, посылали парфюмерам остатки своего урожая. Джуста Кланкарини, ловкий шофер, управлявший грузовиком фирмы «Гиг и К°», совершал пробег из Бордигеры в Грасс в полтора часа, — время, нужное ему для того, чтоб добраться из Пегома, где разводили резеду. Благодаря автомобилю, грасская промышленность могла пользоваться итальянскими садами.

Джуста Кланкарини ехал полной скоростью, несмотря на подъемы и повороты. Он остановил тяжелую машину во дворе, произведя переполох среди мулов и женщин в шляпках, сидящих на седлах между двумя мешками. Джуста Кланкарини любил пугать пешеходов и ездоков. Он гордился тем, что принадлежал к людям механики, предпочитающим силу бензина всему, от чего отдает навозом. Носильщики взваливали мешки на спины и опорожняли затем свою ношу на красные плиты пола. От завода, заполненного шестьюдесятью тоннами цветов, распространялись волны аро-

мата. Прекрасная сухая погода способствовала цветению садов. Итальянские розы прибывали вместе с букетами из Ниццы и со всюю массою цветов, собранных между Грассом и морем.

Разноцветными струями вываливались розы из серых мешков. Рядом с однотонными грасскими, пурпуровые, белые и желтые покрывали землю благоуханным ковром.

Женщины, участницы этой цветочной бойни, клали лепестки для мацерации в высокие вылуженные сосуды, наполненные жиром. Розы, еще упоенные солнцем, задыхались в рафинированном сале американских свиней.

Черпая цветы и жир из кадок, работницы наполняли ими котлы, нагретые паром благодаря подземной работе Огюста Андреиса, бланкиста и гарибальдийца, и Чезаре Дамиано, ученика этого мятежного человека.

Жестяные приемники, вставленные в водяные баки из черного толя, батареей выстраивались параллельно стене; большие окна освещали спины женщин, размещавших деревянными лопатами кипящий жир, настаивающийся на цветах, как кипяток на липовом цветке.

Группа рабочих отделяла посредством процеживания вываренные цветы от свиного сала, насыщенного их ароматом. Пеньковая ткань, натянутая поверх белых луженых чанов, пропускала в них жидкий жир и задерживала липкие розы. Работу надо было производить, пока жир еще не остыл. Женские руки, медленно разливавшие розовый настой, принимались теперь, ловко и быстро, переливать смесь, не позволяя упасть ни капли на пол. Благодаря быстроте, работа становилась веселой игрой. Переливальщицы,двигающие двумя жестяными предметами — ложкой и миской, — ритмически чередовались, словно в танце. Две девушки поддерживали край полотна над чаном, чтобы избежать брызг:

передвигаться по жирным плитам было бы затруднительно.

Работавшие у гидравлических прессов, выстроенных в соседнем зале, накладывали оставшуюся от процеживания массу в прессовальные мешки, похожие на мешки для выжимания маслин. Женщины набивали эти джутовые мешки жирными розами, а мужчины клали их друг на друга рядами, высотой в один и три четверти метра, под плиты гидравлических прессов, с давлением в двести пятьдесят килограммов на квадратный метр, чтобы выжать из цветов последние капли сока.

Ряды гидравлических прессов с чугунными плитами противопоставляли хрупкости розы мощь своего механизма. Благодаря сильному давлению, из нежного цветка выжимался весь сок. Мужчины поливали края мешков кипятком, чтоб растворить застывшую броню жира. Горячая вода, вместе с цветочным соком, лилась на цедильники, удерживавшие жир на поверхности и пропускавшие воду.

Запах грасских ручьев, куда спускались все эти помои, навел Шарля Борсетти на мысли, с которыми он обрушивался на Ривара:

— Изобретение механических приспособлений, вроде гидравлических прессов, не требовало большого остроумия. Одна только химия дает совершенное. Давление не обеспечивает ни полной экстракции различных веществ, ни точного их отделения. Давить и выжимать — самый старый способ работы человека. Вы можете лишь увеличивать силу давления. Необходим новый принцип. Он в химии. Моя система дезодоризации воды и обезмасливания розовых выжимок уничтожит все наши старые механические приспособления.

Ривар отвечал:

— Лучше потерять немного эссенции в сточной воде, нежели перестраивать весь завод по вашему плану.

Для того, чтоб наживать деньги, вполне достаточно мацерации и выжимания. По вашим вычислениям можно узнать, сколько мы теряем, по нашим — сколько мы выигрываем. Когда рабочие не умели еще пользоваться прессами или когда материал бывал недостаточно хорош, случалось выбрасывать еще не вполне использованный материал. Теперь же мы извлекаем из сырья почти сто процентов нужных нам веществ. Пропадает лишь безделица.

Химик, стремившийся добиться совершенного, не стал долго спорить с механиком, довольствовавшимся простой силой:

— Я доказал обратное, — сказал он.

Заявив таким образом, что он достиг абсолютного, он желал подтвердить это опытами над материалом, который обрабатывался в тот же день; он выжидал падения пресса, чтоб получить розовые выжимки и сцеженную воду. Ривар сам наблюдал за взятием пробы.

Поливальщики, вооруженные лейками, повторяли над трупами раздавленных цветов движение садовников, поливающих безмятежные растения.

Настаивание горячего жира на цветах — зрелище, не лишенное интереса: Ривар сопровождал Поля де Бракэ-Саатра и Денизу, посетивших завод. Каприз этот явился у нее вследствие ее страстной любви к ароматам. Стоя над грудой цветов, она казалась созданной из одного с ними вещества. Ривар, гордый оказанной фирме честью, объяснял весь ход производства, разочаровавшего Денизу. Она говорила:

— Сколько жиру! А я-то думала, что увижу одни только розы!

Весь завод работал, чтоб одарить духами прекрасную женщину, оскорбленную грубостью работы и запахом свиного сала и бензина. У перегонных кубов ее восхитили груды последних апельсиновых цветов, покры-

вавших белым ковром красные плиты пола перед медными сосудами.

Взгляд Денизы, ищущий красоты, не замечал движущийся рабочих и улыбался умирающим цветам, украшающим залы, где кипела работа; среди пестрой гвоздики и разноцветных роз темным золотом блистал дрок. Красота сумеречного неба казалась низвергнутой на землю в потоке красок и света. Женщина, не знавшая труда, двигалась среди людей, занятых обработкой цветов. Работницы у котлов с жиром и рабочие у перегонных кубов заканчивали тот момент работы, когда надо было быстро справиться с кипячением и нагрузить мешки выжимками. Затем наступал момент передышки. Мужчины смотрели, как течет сок. Женщины размешивали массу. Обязанности грузчиков котлов требовали от этих рабочих то быстрых манипуляций, то позволяли стоять со сложенными руками перед действующими приемниками. Они спокойно предавались мечтам, озаренным красотой женщины, которой Риварэ объяснял работы. Зал мацерации мог обработать три тысячи кило в день; поступало же сюда с утра три с половиной тысячи. Носильщики продолжали еще вытряхивать из грасских и итальянских мешков последние лепестки, которые рабочие переворачивали вилами.

Дениза пришла в восторг от массы цветов, по которой рабочие определяли продолжительность своего трудового дня. Риварэ рассчитал, что справиться с таким количеством материала в течение вечера будет невозможно, даже задержав рабочих на два лишних часа. Их не хватало для ночной смены. Прошли те времена, когда можно было приказывать работать, пока не иссяк запас роз. Недолго бывал сон в промежутке между последней ночной варкой и утренней зарей, когда во двор снова начинали вкатываться тележки с цветами. Урожай цветов обрушивался своей тяжестью на про-

мышленность; хрупкие лепестки, которые надо было использовать, пока они еще свежи и полны аромата, диктовали свою волю производству. Андреис и Дамиано усиливали огонь, чтобы дослать пар во все приемники, работавшие полным ходом.

Дениза целовала розы, повелевавшие утомленными рабочими. Риварэ оставил себе только то количество, какое он мог употребить до полуночи, и отослал все остальное в отделение нефтяного эфира, посредством которого в двенадцать часов можно было пропустить шесть с половиной кило. Работа здесь производилась не в каменных стенах, как в зале мацерации и выжимания, но в застекленном помещении на железном фундаменте, на случай возможного взрыва. Несмотря на герметические крышки, достаточно было зажечь спичку, чтоб насыщенный эфиром воздух воспламенился в зале.

Мужчины, обутые в туфли, дабы не вызвать искр на железной лестнице, поднимали на спинах корзины с цветами к аппаратам, стоящим на возвышении: десять тонн гвоздики помещались тут же, возле груды роз, сваленных на красные плиты. Холодный пол способствовал сохранению цветов свежими и пахучими вплоть до момента погружения их в эфир. Как истый механик, Риварэ долго размышлял о тех механических способах поднятия корзин, к которым можно было бы прибегнуть. Единственным возможным приспособлением являлся простой канат на деревянном блоке. Необходимо было избежать всего, что могло вызвать искру в этом благоуханном зале, где дремали вулканические силы. Рабочие, вследствие запрещения курить, жевали табак; им не позволялось ходить здесь в башмаках с гвоздями. Изобретательность Риварэ пассивалась перед способностью эфира улетучиваться, доведенной Борсетти до максимума. Ему приходилось поступать, как владельцу каравана: взваливать груз на спину рабо-

чего, или, подобно мельнику доброго старого времени, втягивать мешки на веревке. Он подумывал было о воздушной тяге, которая увлекала бы лепестки вверх по деревянной трубе, но Борсетти разрушил этот проект пневматической передачи, вычислив, какое количество ароматических частиц было бы при этом способе отнято у цветов каждым кубическим метром воздуха.

Деревянные снасти и канаты устарелого парусного ремесла были слишком унижительны для Риварá, влюбленного в вычисление сотых долей миллиметра, чтоб спешить ими воспользоваться.

В мастерских оставались еще кой-какие старые деревянные машины, вроде «качалки», в которой пахучие вещества, растворяемые в алкоголе, подвергались взбалтыванию в стеклянных бутылках с надписью, указывающей начало работы: «16 февраля: шесть месяцев взбалтывания».

Раньше подобная работа производилась руками женщин, катавших бутылки по столу, взбалтывая в продолжение целого года один и тот же флакон, и держа его то в руках, то между колен, чтоб сделать продукт более доброкачественным, так как предполагалось, что температура тела благоприятствует этой операции. Риварá терпеть не мог «качалки», благодаря которой все еще держался старый способ, имеющий целью вызвать путем взбалтывания полное соединение всех частиц алкоголя с пахучим веществом; он противопоставлял этому медленное настаивание, говоря, что кусок сахара легче тает, если на него лить жидкость по капле, нежели будучи целиком погружен в размешиваемую жидкость.

Ему не удалось пока выбросить вон старую «качалку», с рычагами старинных ручных прессов, отполированными руками уже умерших работников.

Наряду с последними способами парфюмерного производства, поднятие на спинах корзин к барабанам,

содержащим эфир, было самым древним примером работающего человека.

Риварá пояснял Полло де Бракэ-Саатру и Денизе вековое ремесло:

— Предками перегонных кубов были реторты, до сих пор употребляемые перегонщиками лаванды. Традиция и усовершенствование привели от их котлов, поставленных на голый огонь, к аппаратам с двойным дном, нагреваемым паром, так же как от вжимания рукой мацерированных лепестков к гидравлическому прессу. Новое оборудование и сила механики совершенствовали все те же старые приемы производства. Нефтяной эфир произвел некоторый переворот.

Химик Борсетти, в очках с железной оправой, явился неожиданно, чтоб заявить, что точка зрения Риварá не вполне правильна.

— Ухищрения, к которым прибегали с целью получения цветочной эссенции, как при помощи жиров, так и при помощи летучих веществ, одинаково ведут свое начало из древности. Вымачивание розовых лепестков в фалернском вине применялось еще за три века до рождения Христова, одновременно с погружением их в оливковое масло. Мы извлекали пахучее вещество сначала посредством чистого алкоголя, позднее — посредством нефтяного эфира. Мы только продолжатели. Экстракция аромата путем летучих растворителей или жиров — давно известный прием в истории человеческого труда. Все в мире — химия.

Риварá, влюбленный в свое дело, но отнюдь не фанатик, не ответил на это: «Все в мире механика». Он хотел только, чтоб порученное ему производство функционировало правильно. Дениза, равнодушная к их страстям и очарованная цветами, смотрела, как рабочие захватывают полные корзины роз и гвоздики. Лепестки сыпались с высоты железных лестниц, куда

рабочие, неслышно ступая, поднимали свою ношу. В цилиндрических экстракторах, наполненных эфиром и называемых «барабанами» вследствие их сходства с инструментом исполнителей провансальской фарандолы, барабанщики раскладывали розы слоями на пластинках, продырявленных на манер цедильников и помещавшихся одна над другой с промежутками в пятнадцать сантиметров, которые и заполнялись розами. Их накладывали, как джутовые мешки под гидравлический пресс, но здесь стремились не увеличить давление, а уменьшить его. Эфир должен был проникнуть во все лепестки, что было бы невозможно, если бы они лежали плотной массой. Рабочие у перегонных кубов действовали гораздо проще, наполняя их, так как горячий жир быстро проникал внутрь массы. Работавшие же нефтяным эфиром должны были прибегать к раскладке лепестков слоями. Едкая жидкость, проникая в лепестки, холодным путем влияла на мясо цветка и извлекала из него всю эссенцию.

После рабочих, по-старинному поднимавших ношу, сгибаясь под ее тяжестью, главным работником был эфир. Духи, вызванные из недр земли, завладевали розой и в четверть часа выпивали весь ее аромат. Сифонная трубка посылала насыщенный ароматом эфир в дистилляционный аппарат, где жидкость освобождалась от эссенции, извлеченной из лепестков, и снова возвращалась в барабан, чтобы поглотить новые запасы роз.

Ремесло, насилюющее цветы, составляло богатство и славу Грасса, к негодованию людей, недовольных оплатой их труда, и к удовлетворению тех, кто радовался своим барышам. Завод, работавший, чтобы дать женщине возможность наслаждаться ароматами, был отвратителен Денизе. Она жалела цветы, так жестоко тер-

заемые грязными работницами в грубых полотняных фартуках и рабочими, жующими табак. Она ненавидела все, что оскверняло нежный облик той силы, которой питалась ее мечта — все, что, по ее мнению, унижало девственный аромат цветов.

Масс, прекрасным майским утром поливавший жасмин, громко бранился, глядя на нечистоты, принесенные ему ручьем. Отбросы эти, вонявшие керосином, закупили ручей, который ему приходилось расчищать киркой. Он погрозил кулаком в направлении завода Гига, разразившись новыми проклятиями по адресу парфюмеров. Он образно выражался на своем неукротимом языке, говоря про клубы заводского дыма: «Знамена нашей нищеты».

Привычка ненавидеть была у него слишком велика, чтоб отказать от нее, несмотря даже на то, что за кило розы ему платили восемь франков пятьдесят сантимов. Злобный жест его относился всегда к дыму Гига, а не к дыму заводов Массьера, Рура и Бертрана-сына, Шириса, Лангье-сына или к какому-либо другому из двадцати девяти грасских заводов. В разгар майской работы они посылали к полям потоки вываренных цветов. Масс, покончив с поливкой жасмина на шпалерах, набил свою трубку из вишневого дерева. От брошенной спички ручей воспламенился. Изумленный, с вытаращенными глазами, держа заступ в руке, он приблизился к горящей влаге, чтоб отвести ее течение в сторону. Страстное желание спасти свое имущество пишало его способности говорить. Он сразу дорос до молчания. Огонь горел над насыщенной эфиром водой,

пересекая сад Теуля; тот изменил своей обычной размеренной манере говорить и рычал непонятные слова, в которых ничего нельзя было разобрать, кроме имени Гига. Волнение выдавало наиболее угнетавшее его чувство. Не зная, какой завод посылал эфир к водостоку, оба крестьянина обвиняли наиболее ненавистный, плативший их отцам по десять су за кило розы.

Попадавший в воду эфир никогда еще не воспламенялся так близко от города. Пламя потухало и разгоралось, борясь с течением, удалявшим эфир от его исходной точки. Задыхаясь в отбросах, где ему не доставало воздуха, оно перебрасывалось в сад и углублялось в землю. Теуль сказал:

— Огонь увеличивается. Сейчас мы узнаем, какой завод заливает нас керосином. У Гига есть цистерны по десять тысяч литров!

Оба ждали взрыва резервуаров. Взгляды их были направлены в сторону ненавистного им завода. Падут ли подкошенные эфирным вулканом три трубы, дымившие благодаря работе Андреиса и Дамиано?

Тайна пламени, исчезнувшего под землей, волновала воображение крестьян. Их мечты были не так уж далеки от действительности: они с нетерпением ждали, не загорится ли завод, обрабатывающий цветы углеводородами. Предосторожности, принятые Ривера в высоком зале, где розы и гвоздика купались в эфире — жевательный табак и туфли на веревочных подошвах — исключали возможность воспламенения эфира на месте работ, но порча какой-нибудь трубы или оплошность крана позволяла ему блуждать среди отбросов под грасскими лачугами и в садовых ручьях. Жаровни Марии Жилли или трубки какого-нибудь земледельца было достаточно, чтоб вызвать вдалеке от завода огонь, который мог вернуться к цементным, погруженным в воду, резервуарам.

Пламя в саду Масса угрожало жизни дистилляторов, цедильщиков и барабанщиков. Но какого завода? Оба крестьянина ждали, что ответит им на этот вопрос взрыв. Где вспыхнет жидкий вулкан, выбрасывая на грасские лачуги и виллы зимующих огонь, обломки труб, кровельного железа и остатки барабанов, наполненных цветами? Вместе с кровью, ароматными жирами из котлов и сорванными плитами гидравлических прессов, вернутся ли розы, гвоздика и апельсиновые цветы снова в сады? В тишине солнечного утра Теуль и Масс прислушивались к голосам смерти.

Запах роз, распустившихся под лаской горячего солнца, становился все ощутительней. Нежным языком цветов говорила земля. Трава на лугах, дерезья — фиговые, апельсиновые, оливковые, — виноградные усики — все, начиная от последнего листа на дороге, раздавленного ногой человека, и вплоть до тех, среди которых распевали птицы — все кругом богатой струей изливало аромат. Земля, дышавшая своими блаженными растениями, поила благоуханием недвижный воздух. Сады укрыли тайну огня, работавшего в сточных водах. Горело ли в этот момент под столетними домами в улице де Мулинэ, где проживали Мария Жилли, гарибальдиец Андреис и Чезаре Дамиано?

Дачники, предававшиеся приятному ничегонеделанию, рядом с трудящимся людом, отнюдь не сознавали той ужасной опасности, которой их подвергало соседство фабрик, и не подозревали, что обломки парфюмерных машин могли, в один прекрасный день, полететь в лицо праздным благоухающим женщинам.

Масс, изнемогший от молчанья, сказал:

— Это должно случиться. Грасс стоит на бочке с порохом. Заводчики работают эфиром, потому что у них нет больше смелости продолжать старое дело, как в прежние времена — руками! Теперь у них пошли

трубы и краны. Прежде заводы наполняли Грасс ароматом, теперь они спалят его!

Но на сей раз этого не случилось. Люди не пострадали в это прекрасное утро, когда ласточки исчерчивали своим полетом голубое небо, затянутое волокнами дыма. Мир продолжал быть благоуханным и прекрасным, как и раньше. Ручей у подножья розовых садов наливал соком бутоны, которые ласкало солнце. Водой и светом питались растения, одеваясь под вечер бесчисленными цветами. Если бы не погибли верхние пучки, кусты покрылись бы розовыми скатертями. Оттенки цветов темнели по мере медленного утреннего расцветания и становились особенно густыми к вечеру, после пятнадцати часов самодержавного владычества солнца. Белые деревенские дымки от сжиганья сорной травы робко поднимались рядом с высоким черным дымом заводов. Жасмин, освобожденный от укрывавшей его земли, начинал пускать тонкие стебли над толщей стволов, извиваясь на шпалерах, как виноград. Среди окружающего благоухания и пестроты красок, угрюмыми были одни только кипарисы, указывавшие на близость вилл. На дом Теуля падала тень от большого платана, единственного недоходного дерева, которое этот скупец сохранил на своей земле. То, что не приносило ни цветов, ни плодов, было для него просто топливом. Он был не лесоводом, а садовником, и про самое красивое дерево говорил: «Оно заслоняет солнце».

Способный целый день не разгибая спины работать в саду, он пожалел бы воды для дуба; он спокойно обрубал на нем ветки и даже срубал его целиком на дрова — страдал дуб, а не он. Оливковые же деревья он подрезал тщательно и осторожно, придавая каждой ветке, как и всему дереву, очертанья, наиболее благоприятные для восприятия солнечных лучей.

Заботливой рукой срезал он лишнюю зелень на померанцевых деревьях для продажи ее парфюмерным заводам, изготавливающим из незрелых плодов эссенцию второго сорта, а из листьев воду, чтоб разбавлять последнюю. К тем деревьям, которые он называл «дровами», он был безжалостен, как и к самому себе. Он по-евангельски ввергал в огонь все, что не приносило доброго плода.

Старый розовый куст, родоначальник сада, протягивал в аллее свои колючие ветви. На это нападение, задерживавшее его в пути, Теуль отвечал, как на ласку ручного животного. Казалось, человек и растение ежедневно обмениваются знаками давней дружбы. Сорокалетняя ветка куста еще добросовестно покрывалась майскими розами. За это любил его Теуль и медленным жестом отвечал на его цепкое прикосновение. Пощаженный платан расстилал перед домом приветливую тень. Жан Теуль, загоревший от солнца и пропахнувший потом, после трудов обретал под густой листвой приятную прохладу.

На всем пространстве вокруг Грасса, от высоких сосен на скале над городом, вдаль дороги Сен-Валье, вплоть до кипарисов и эвкалиптов, растущих внизу, Теуль признавал лишь одно, достойное уважения дерево — то, что давало ласковую тень у порога его дома. Совершенно прямой и круглый ствол платана был серого цвета, темнее, нежели кожа работающего на ярком солнце человека. Дерево, превышавшее одноэтажный дом, благословляло его своими ветвями, всякую осень покрывавшими крышу мертвыми листьями. Дом от этого светлел. Вокруг же ствола все увеличивался золотистый ковер, шуршавший при ходьбе по нем. Звучную жатву эту Теуль обращал в костер, который он разводил в конце сада, чтоб добыть немного золы для розовых кустов. Любовь крестьянина к дереву,

носителю прохлады, возрастала, когда он вспоминал, что после летней тени оно даст ему и первое зимнее пламя. Широкие сухие листья пылали как стружки; огонь, помещиваемый вилами, пожирал негодную траву. Это бывало праздником для Ренэ Теуля. Впечатлительный ребенок видел в дереве не только слугу, но и божество. По вечерам он прижимался щекою к стволу платана. Робкие губы запечатлевали влажный поцелуй на гладкой коре прекрасного дерева. У мальчика захватывало дыхание, точно он долго бежал в страхе. Столетний ствол громадного зеленого божества носил на себе сияющей ночью след детской нежности, мгновенный, как дыхание.

Одна из его веток касалась окна комнаты, где спал Ренэ. Осенний ветер сбрасывал с крыши на землю широкие листья, и они шумели громче птичьих крыльев. Ребенок, проснувшись, вслушивался в таинственный разговор ветра и дерева. Он называл большой платан — «Доминус», как в церкви называют бога. Весной, величайшей его радостью было наблюдать, как прибывает день и распускаются цветы, а осенью — видеть пламенную розу, расцветающую над костром бледных листьев. Он опаял себе кончики ресниц, так близко наклонялся он к огню: нервный мальчик был зябок.

В жаркое время Теуль поливал все пространство, покрытое тенью платана, благодаря чему между землей и листьями получалась восхитительная свежесть, радовавшая человека, сидевшего под деревом, довольным сырьем.

В то утро, когда воспламенился насыщенный эфиром ручей, Теуль пригласил к себе Массу выпить абсента, который он приготовлял сам, вливая в спирт, украденный у парфюмеров, экстракт, помеченный в преискуранте фирмы Массьера: «1 кило — 65 фр.». Благодаря последнему обстоятельству, Прованс не нуждался

в аперитивах. Заводчики продавали эссенцию для вина и ликеров в сухом и жидком виде: «Кюрасо 1907 г.», «Старый джин», «Ром ямайский», «Аликант», «Токайское». Тень Доминуса ласкала ближайшие цветы сада. Запах аниса, поднимавшийся от зеленого ликера, соединялся с запахом роз, пышно распускавшихся под распорительным солнцем.

Зловоние нужника исходило из желтых глиняных кувшинов с навозом, оглазированных внутри и не обделанных снаружи; сосуды эти, имевшие форму амфор, могли по размерам вместить человека и были до половины зарыты в землю, чтоб удобнее черпать оттуда вырезанной в виде ложки тыквой с длинной ручкой.

Масс повторял свои ругательства по поводу завода. Освобожденный раб заводчика-феодала, строения которого возвышались в Грассе, подобно неприятельской крепости, начинал все свои речи бранью и проклятиями, отомщая за то время, когда ему приходилось низкопоклонничать и унижаться:

— *Aqueoi saloré di Guigue*, — говорил он, — какой мерзавец этот Гиг! Коли он собрался разводить цветы, так он отравит все наши сады эфиром, чтоб они водились только у него! Мы сами выстроим завод на кооперативных началах и станем сами парфюмерами, если они хотят стать садоводами. Мы больше не позволим им сидеть у нас на шее, как они это делали в продолжение пятидесяти лет, с тех пор, как первая труба выросла в Грассе. В 1880 году, дед Гига отправлялся летом в горы перегонять лаванду. Помнишь его маленький заводик на Новой улице? Отец Байе — такой еще превосходный игрок в шары — долго работал у него там. Он жил на улице Рев-Вьель, у него был маленький садик под Риу-Бланкэ. Он так и умер, получая два франка в день. У Гига теперь миллионы. В 1873 году, при «Партии Морального Порядка», когда Республикан-

ский Комитет явился к деду Шириса, тот ответил: «Леон может поступать, как ему угодно, но он знает, что у нас всего только сто тысяч франков, вложенных в дело. Теперь у них четыреста миллионов. У тех, кто взялся за перегонный куб, теперь громадные состояния, у тех же, кто держался земли — попрежнему ничего. В продолжение двадцати лет подряд, с тех пор, как цветет мой жасмин, за цветы платили сорок су. Заводчики давали, сколько им вздумается. Но в нынешнем году они заплатят столько, сколько мы пожелаем!

— Двадцать франков, — сказал Теуль.

Масс опустил голову и руки влево и прижал локти к телу. Таким образом, напевая «те... те...» он выражал свое одобрение. Доказывая что-либо, он поднимал подбородок и разводил руками, поводя большим пальцем, который отставлял далеко от остальных, сжатых вместе.

— Двадцать франков, — сказал он, не изменяя своего наклонного положения, — это недорого. Кто заплатит нам за высохшие бутоны? Еслиб земля принадлежала заводчику, убытки нес бы он. Жасмин должен вознаградить нас за розу!

Желтым клювом дрозд искал червей в земле, пропитанной керосином, благодаря поливке.

— *Un passéroun*. Черный дрозд, — сказал Теуль.

Он стрелял всех птиц — щевриц, дроздов, жаворонков, славок, воробьев. Как только он замечал шевелящееся крыло, он бежал за ружьем. Он крикнул Ренэ:

— *Lou fusion!* Ружье мне!

Мальчик принес ружье, но без патронов. Крестьянин, упустивший дичь, рассердился. Над прибитым ребенком спасенный дрозд свистал на платане Доминуса.

— Он вернется завтра, — сказал Теуль, — и я его подстрелю!

Так как садовая работа была кропотлива и требовала большего напряжения, земельные участки были весьма дробными; это обстоятельство создавало большое число охотников, перебивавших всех птиц в этой местности, отличавшейся прекрасной растительностью. В пении птиц Ренэ умел распознавать три основные чувства: страх, голод, любовь. Он понимал голос зяблика, когда тот спасался от ружья, искал добычу или выбирал подругу.

На сырой почве, где отпечатались лапки дрозда, толстая жаба двигалась обычной дорогой, спеша добраться до своей норки раньше того времени, когда земля потрескается от зноя. Она была ручной, как домашнее животное, и нисколько не пряталась на своем пути.

Теуль прозвал ее «Bouffaréou — Пузаном», как называли толстого младенца Иисуса в рождественских яслях.

Крестьянин, убивавший птиц, любил этих жаб, поедавших улиток. При его приближении, «Пузан» замирал на месте, выжидая, чтоб он переступил через него осторожно. Черные глаза покрытого слизью животного смотрели на хозяина сада и на чужого человека рядом с ним, затем оно медленно стало забираться за камень, с трудом передвигая на коротких лапах неповоротливое тело, разросшееся до последних пределов, каких только может достигнуть жаба.

— Lou soléou li fa rop, — сказал Теуль. — Она боится солнца. Теперь она вылезет не раньше, чем покажутся звезды.

Синдикалист Феррари пристал к крестьянам, пившим аперитивы в кафэ:

— Вы с собрания? Ишь, богатеи! Вы подняли цену на жасмин еще на пять франков! Вы говорили — двадцать пять франков. И вот теперь уже тридцать. Впродолжение восьми лет вы продавали его по сорок су и были довольны. Крестьяне убьют грасскую промышленность!

Мягкие шляпы с изуродованными вследствие частого опускания полями были надвинуты на нос. Утомленным от зноя людям были свойственны небрежные позы: они закладывали большие пальцы в проймы жилетов или упирали руки в бедра, чтоб дать им отдохнуть.

Крик Морена: «Позвольте!» потряс все его тело; в его правой руке дрогнула рюмка вермута.

— Как смеете вы говорить про нас, что мы убиваем промышленность? Никогда мы не отказывали ей в своем тяжком труде! Мы только требуем, чтоб он оплачивался как следует! Тогда как вы, рабочие, вы побросали работу на заводе, чтоб сгноить розы в садах! И вы требуете пятнадцать франков в день — больше, чем получает полковник в отставке!

Он закончил обычным трубным возгласом: «Позвольте!», выпил свой вермут и собирался продолжать, но Феррари заговорил быстро и громко:

— Заводы, нищенски оплачивая наш труд, причиняют нам гораздо большее зло, чем мы — им, когда, желая добиться справедливости, мы устраиваем двухдневную стачку! Вы, крестьяне, становитесь для нас еще опаснее, нежели заводчики, потому что вы лишите страну работы. Чтоб не покупать у вас, они устроят заводы в Бордигере, Бейруте, в Болгарии. Вы требовали за розу пятнадцать франков и уступили ее за восемь с половиной. То, что вы пошли на такую уступку, доказывает бесчестность ваших требований. Если цена в пятнадцать франков соответствовала действительной стоимости товара, вы сумели бы ее лучше отстоять! Прежде заводчики покупали нечестно, теперь неправда обернулась. Теперь вы продаете нечестно.

Все сидевшие за столом заговорили одновременно. Феррари кричал Массу, которому он доводился троюродным братом:

— Ты купил гостиную красного бархата — диван, кресла и ковер. Ты и твоя жена не признаете больше соломенных стульев!

Масс отвечал:

— Не твое дело, твердо или мягко моей заднице! Я не какой-нибудь бездельник, вроде рабочего, который работает только восемь часов в день, и притом в тени! Здорового ты свалил дурака, распинаясь за них! А они плевать на тебя хотели!

Морен сказал:

— Слишком деликатный человек ничего не может сделать для организации. Неблагодарность обескураживает.

Так как Масс пил, Феррари хотел было заговорить, но неистовый человек, рот которого был занят вермутом, замахал рукой, требуя внимания к своим грядущим словам.

Феррари, охарактеризовав Массу «несознательным», выругал всех синдикалистов-земледельцев:

— Уж лучше я уйду, так вы мне все противны!

Они кричали ему всякую всячину, кроме Морена, повторявшего все одно и то же «Позвольте!».

Масс выругался по-старинному, как ругались в те времена, когда на Средиземном море плавали еще галеры:

— *Vaïtén én galéra!* Галерник проклятый!

И затем побегал за ним вдогонку, казалось, с тем, чтоб оскорбить его еще больше, но кончил тем, что предложил ему выпить:

— *Macaréon!* Ну тебя! Выпей с нами! Можно поспорить, но к чему же ссориться? Тут есть абсент, знаешь? Чорт меня подери, если я вру!

Он потребовал у прислуживавшего мальчика:

— Отпускаете же вы его своим постоянным посетителям, в задней комнате... Так не отказывайте же и нам в удовольствии выпить в компании. Мы заплатим! Можете разменять тысячу франков? Что-то не похоже на то!

Сын людей, копивших гроши, гордился возможностью широко тратить деньги.

Феррари, решившись выпить, сел, и во избежание спора, заговорил о погоде:

— Только бы не было дождя завтра, в воскресенье! Это раздражило Морена:

— Сейчас виден рабочий! Он думает только о прогулках. Нам, садоводам, дождь необходим. За весь месяц упала капля — чтоб только раздражить землю!

Переходя ко второй своей манере говорить, он изменил повелительное «Позвольте» на приятельское «Говоря между нами».

— Тридцать франков за жасмин — это, говоря между нами, недорого!

Масс, обладавший поверхностным и изменчивым характером, мог выполнить что-либо только потому, что слишком много об этом говорил. Иногда же он ограничивался одним разговором, после чего действовать для него не являлось необходимым. Это был человек, питавший страсть к сложным жестам и почесывавший правой рукой левое ухо.

Многоречивый Морен, изъяснявшийся громовым голосом, но одержимый фанатическим желанием преуспеть в деле крестьян, был способен честно выполнить все, о чем говорил. Этот деятельный болтун был действительно энергичен. Он желал основать кооперативный завод, чтоб раскрепостить крестьян от заводчиков. Все его помышления ограничивались территорией садов грасского округа и двумя категориями людей — садоводами и парфюмерами.

Пьер Феррари, требуя повышения заработной платы, представлял себе иные взаимоотношения: хозяев и рабочих. Но желания его не ограничивались увеличением дневного заработка. Он присоединял сюда мысль об изменении всего уклада жизни человечества.

В лице Морена и Пьера Феррари сталкивались два темперамента: консервативный, изыскивающий наиболее спокойные формы существования, и беспокойный, революционный.

Требуя за жасмин тридцать франков, которые дали бы землевладельцам возможность собрать капитал, необходимый для устройства кооперативного завода, Морен думал осуществить нечто важное на земле, то есть, в грасском округе.

Для Пьера Феррари, повышение заработной платы на парфюмерных заводах было лишь эпизодом в социальной истории человечества. Он верил в апостола Маркса, как в освободителя пролетариата.

В горячке спора, подкрепляемого вермутом и абсентом, фанатики являли два значительных типа человеческой мысли:

— У грасского пролетариата, — сказал Пьер Феррари, — есть два врага: владелец завода и владелец земли. Скудное вознаграждение, которого мы добились на заводе, нам приходится целиком отдавать крестьянину, который поднимает цены на рынке тотчас же, как заработная плата увеличивается. Мы жертвы капиталистов и собственников — крупных и мелких. Рабочие всех стран должны объединиться — все за одного и один за всех! — и осуществить путем борьбы классов историческую миссию пролетариата: социализацию средств производства!

Морен вскричал:

— Позвольте! Вы говорите вздор! Политические вожделения француза — это частная собственность, а не социализм!

Масс перебил их спор:

— Эстерель горит!

Белый дым, словно от подожженной сорной травы, подымался между Грассом и морем. Над местом пожара, небо ясное, вследствие сильного морского ветра, оттеняло синевой этот пахнувший гарью туман, ложившийся тенью над городом. Мистраль, «lou Mestré: тот, кто говорит громче всех», нарушал тишину давно уже неподвижных веток. Оливковые деревья, фиговые эвкалипты, виноград — гудели каждый по-своему, в соответствии с формой своей листвы. Растительность начала говорить запальчиво. Ветер дробил струи фонтанов над бассейном, где вода бушевала, как море во время бури. Плоды в садах, падая с деревьев, прибавляли к шелесту веток глухой звук падения.

Масс обвинял неизвестных виновников пожара:

— Пожары всегда начинаются с мистралья. Кому интересно поджигать? Пастухам, которым больше не позволяют пасти скот в лесах, потому что овцы опивают почки и опустошают таким образом леса. На месте пожара вырастает нежная трава, до которой овцы лакомы. А не то — пожары выгодны лесоторговцам, которым казна дешево продает обгорелые стволы. Опять же — немцы хотят погубить Францию...

Зрители, собравшиеся на выходящей во двор веранде, соглашались с этими беспорядочными обвинениями.

Клубы дыма, окутавшие Грасс, указывали на размеры пожара в лесу Таннерон. Огонь был в двенадцати километрах от Грасса, в направлении Орибо, где поднималось встречное пламя.

Теуль высказал соображения по поводу грозящей опасности:

— Если на заводы упадут искры — город вспыхнет, как керосиновый или масляный факел.

Облака дыма изменяли ландшафт, скрывая одни склоны и создавая другие — мнимые. Ночь медленно окутывала своей тенью эти превращения. Исчезающий в высоте дым начинали украшать сверху звезды, а внизу — языки пламени, невидимые до сих пор, благодаря солнцу. Там, где опустошение завершалось, огни походили на огни города. Трубы заводов и крыши домов, обрисовывающиеся на покрасневшем небе Грасса, казалось, пылали.

— Жасмин вокруг Орибо погибнет, — сказал Морен.

Пьер Феррари, бывший солдат африканских войск, вспомнил о пожаре в полях:

— В 1916 году, 14 июля, солдатам роздали спички, чтоб поджечь в поле спелую пшеницу. Действовать надо было осторожно, чтоб не сгореть самим. Мы выполнили широкую полосу, побросали снопы с подветренной

стороны, и пожар пошел гулять в соломе, высотой в полтора метра, с колосьями в девяносто зерен и в пятнадцать сантиметров длиной! Под прикрытием огня мы бросились на приступ укрепления, которое бомбардировали шестидесяти пяти и семидесяти пяти миллиметровые горные орудия. Наш отряд захватил двадцать лошадей, тридцать мулов и шестьсот баранов, которых мы продали интендантству по двадцать франков. Во время разгрома сипаи понабили себе золота в обувь. Жуаезцы предоставили нам скот, а сами побежали насиловать и убивать женщин.

Теуль высказал свое огорчение по поводу того, что в этой истории показалось ему наиболее достойным сожаления:

— Какое несчастье — жечь такую прекрасную пшеницу!

Затем, скорбя о жасмине в Орибо, добавил:

— От него ничего не останется, он охвачен огнем!

Гибель прибыльных растений вызывала в нем искреннюю жалость.

Прекрасные цветы продолжали быть поводом к спорам между людьми. Теуль предлагал свой жасмин Массьера, но тот не торопился набавлять, согласно своему обыкновению, пятьдесят сантимов сверх цены, назначаемой синдикатом. Он очень желал получить цветы раньше фирмы Гига, но ему не хотелось потакать страсти крестьян к обогащению. Он высказался довольно осторожно:

— Морен приучает вас спекулировать. В прошлом году жасмин стоил семь франков пятьдесят, в нынешнем — тридцать франков. Это спекуляция! Мы, старые грасские работники, должны пойти на соглашение.

Теуль отвечал:

— Я не прочь, — и ушел, не сказав ни да, ни нет.

Растения распускались прекрасно. Несмотря на неудачу с розой, грасский округ рассчитывал поставить триста тонн цветов. Общины, собравшие на розе четырехста тысяч франков, ожидали миллиона за жасмин. Старые угнетатели крестьян, выплачивавшие грошами, теперь должны были рассчитываться с ними миллионами.

Богатство грасских парфюмеров наполняло глубокие ящики деревенских комодов и увеличивало банковские вклады. Крестьяне выкупали у грасских рантье свои закладные. Каждый имел теперь свою землю и никто

не желал больше работать на других в качестве арендатора.

Однажды утром, когда Теуль поливал жасмин на шпалерах, Монье, комиссионер фирмы Гига, остановил свой экипаж, чтоб спросить его:

— Довольны ли вы, Теуль? Роза могла бы быть и лучше, но жасмин вознаградит за все, в особенности при вашем тщательном уходе.

Казалось, намерением его было только сказать мимоходом несколько любезных слов. Теуль отвечал на них осторожно. Он терпеть не мог этих цветочных комиссионеров, барыши которых уменьшались с тех пор, как крестьянский синдикат сам договаривался с владельцами заводов.

Теуль, сдержанный и имевший привычку помогать разговору руками, предварительно делал три гримасы, а затем уже произносил одно слово, сопровождаемое мимикой. Он стал в позу, как бы желая выразить понятие: «Работа!». Он потер себе лоб, что должно было обозначать: «Жарко!»

Монье продолжал рассыпаться в похвалах:

— Вы слишком уж надрыгаетесь! Вы сами доставляете ваш сбор на завод. Я мог бы захватить его мимоездом.

Он собрался уезжать, как вдруг ударил себя по лбу:

— Совсем было позабыл!

Он вошел в сад и похвалил порядок:

— Aeo és dé beoü travail! Вот это добрая работа! Это стоит двадцати пяти франков за кило, а?

Теуль кликнул Массу:

— Vénè! Поди-ка сюда! Перелезай через стену. Господин Монье предлагает за жасмин двадцать пять франков.

Разговоры относительно цены возобновились в саду. На ярком солнце, радовавшем растения, Монье говорил,

утираясь и жестикулируя. Он широко раскрывал рот. Зубы у него, среди которых не хватало одного глазного, были неопрятны. В ушах торчала вата. Чтоб освежить лоб, он сдвинул соломенную шляпу на жирный затылок. Ему было трудно изощряться в словах на старости лет, так как он привык к сговорчивости крестьян, в былые времена умолявших его покупать у них цветы; по его расчетам, это положение должно было оставаться навсегда неизменным.

Будучи видным лицом в политике грасского округа, он принадлежал к партии Гига.

В Грассе не употребляли терминов: «Радикальная партия» или «Консервативная», говорили просто: «партия Оссолы», «партия Гига». Выборщики желали показывать кулаки или аплодировать определенному лицу. Цветы и политика вели к одному и тому же заводу. Агент собирал одновременно и голоса и розы. С его стороны было большой смелостью явиться в этот сад, где не хотели Гига, поддерживаемого клерикалами. Теуль любил говорить:

— Церковь—это квадратный дом, который круглый год кормит дармоеда.

Монье, стоя лицом к солнцу, надвинул шляпу на глаза, что было второй его манерой носить ее—либо на затылке, в виде нимба, либо в качестве наглазника, надвинув на нос, смотря по тому, светило ли солнце ему в глаза или в затылок. Он начинал обыкновенно разговор спокойно и добродушно, и лицо его с густыми черными усами сохраняло величественную неподвижность; иногда эта неподвижность внезапно исчезала, и Монье начинал корчиться с головы до ног. Ежась и подергиваясь, он то собирал, то распускал складки кожи, перебегая с места на место.

Споря под открытым небом, он не забывал то сдвинуть шляпу на затылок, чтоб вытереть лоб, то нахлобу-

чивать ее на нос, когда солнце било ему в глаза. Резкие движения рук с вытянутым указательным пальцем педантически завершали его слова, которые он выговаривал громко и отчетливо.

Внушительный этот вид и вопли довершались иногда уморительным поднятием плеч к самым ушам и рук к глазам. Такова была манера Монье утверждать, заставлявшая кожу его неимоверно растягиваться, а голос повышаться до неистовства. В такие моменты он задыхался от крика. Он двигался весь от головы до ног. Начиная говорить с олимпийским спокойствием, он впадал в комическую ярость всякий раз, когда ему приходилось убеждать, что случалось часто, независимо от того, касалось ли это цен на цветы или политического мнения.

Масс, поворачивая худое тело и руки влево, не соглашался с ним, бормоча свое нечленораздельное: «Гм... те...»

Он приходил в бешенство перед молчаливой неподвижностью Теуля.

Монье сказал:

— Вы не знаете Гига!

Теуль грубовато воздал тому должное:

— Что и говорить, это не собачий помет!

— Он даст на двадцать су больше. Он из тех промышленников, которые понимают садовода!

Монье, с неопрятными зубами и ногтями, извивался, как угорь. Убеждающие, широко раскрытые его ладони двигались перед самым лицом Массы с таким видом, словно он собирался задушить его; тот, в свою очередь, растопырил руки, как курица крылья, когда ее преследует собака. Они успокоились. Монье сдвинул шляпу на затылок и направился к экипажу в сопровождении обоих крестьян, не желавших, повидимому, продавать цветы Гигу, за которого они не голосовали, но доволь-

ных предложенной ценой, бывшей еще выше цены Массьера.

Еще недавно комиссионер прекрасно зарабатывал на однодневных сборах, из-за которых не стоило заключать договора с заводами. Он выгодно скупал эти цветы и перепродавал их оптом. Он забирал у крестьян сухие цветы и перед тем, как продать их парфюмерам, смачивал их. Синдикат, назначая цену сам и объединив таким образом мелких садоводов, затруднил этот выгодный промысел. Монье решил заняться перевозкой товара. Он всюду предлагал свою доставку, рассчитывая при этом заработать на разнице в цене между мелкими партиями и общим тоннажем. Таким путем, он мог продолжать свое прибыльное ремесло посредника между садоводами и владельцами заводов.

Он любезно предложил Теулю доставить его тележку на завод.

Крестьянин отвечал жалобой:

— Это еще не самое трудное. Заводчики, вот, заливают нас всякой дрянью!

Он указал на плотные комья роз и гвоздики на темной земле, между двух рядов жасмина, политого утром. В саду не было сточного резервуара, и вода, извергаемая заводами и домами, попадала непосредственно к растениям. Теуль охал, думая о том, сколько ему будет стоить бассейн для накопления воды и для очистки ее от нечистот, которыми он предпочитал пользоваться во время унаваживания, а не ежедневно, так как это вносило беспорядок в поливку.

— Мой сад, — говорил он, — и ест и пьет одновременно.

Монье рассчитал, во что обойдется Теулю устройство бассейна, а также и то, что покрыть этот расход он будет в состоянии из половины суммы, полученной за жасмин, считая по двадцати шести франков за кило.

— Я всегда дам больше, чем ваш Морен, человек, который двадцать лет не был в Грассе. Это чужой. Я же всегда работал с вами. Я покупал у вас цветы и в самые трудные годы.

Он возвысил голос и начал жестикулировать.

— Теперь это просто. Парфюмеры разбогатели. Можно драть с них высокие цены. Садоводы отвернулись от старого друга Монье. Они хотят лишиться его хлеба. А жить всем хочется...

Он поехал к другим крестьянам, так как был в состоянии кипятиться пятнадцать часов в сутки и пить, для поддержания своего веса и значенья, тридцать аперитивов в день — абсент, подаваемый из-под полы, или горькие местные изделия.

Он бесился на синдикат садоводов не только из-за своих денежных потерь, но и вследствие утраты авторитета. Комиссионер, которому до сих пор все льстили и угождали, потерял в округе всякое значение. Монье говорил о Морене: «Теперь только и разговоров что о нем!» или: «На меня и смотреть не хотят!».

Человек этот, который, пользуясь разобоченностью крестьян и заводчиков, зарабатывал на них до трехсот франков в день, ненавидел того, кто возглавлял собою делегацию земледельцев. Монье жаловался сенаторам и депутатам партии Гига на этого революционера, который еще наделает бед. В политику он верил, как добрый христианин в бога. Протекция для него была равносильна молитве. Когда какой-нибудь крестьянин просил его замолвить словечко за сына-солдата или за мальчика в школе, Монье отвечал: «Я поговорю с господином Гигом» таким тоном, каким кюре обещает: «Я помолюсь за вас!»

Отвергая это старое засилие политики, крестьяне шли теперь за синдикалистом, который никогда не говорил с ними о выборах и продавал цветы владельцам

всех заводов, независимо от партий. Монье мог уже насчитать много ферм и крестьянских домов, где никто не выходил больше на звук его экипажа для того, чтобы встретить его у дверей. Надвинув на глаза шляпу, под ослепительным солнцем, смиренно продолжал свой путь, среди величественных красот природы, этот некогда влиятельный человек.

Жаркий июнь радовал ящериц, сновавших по голым раскаленным камням. Босые ноги детей отпечатывались в густой дорожной пыли, обжигавшей кожу. Железные шины колес сверкали по дороге, позолоченной солнцем, где мулы покачивали прикрытыми платановыми листьями головами и отмахивались хвостами от мух. Воздух был ослепителен. Гении аромата усиливали благоухание опьяневших цветов. В ручьях, несущих воду с грасских заводов, плавала белая жирная пена, похожая на пену прибоя у морских берегов. Жасмин на политой земле застенчиво темнел рядом с пышной листвой розовых кустов, одетых последними цветами. Среди поля, помеченного глазком колодца, женщина принималась за неблагодарную работу, подвесив мешок к поясу: ходить приходилось много — сколько роз, столько же и шагов; время майского изобилия, когда собирать можно было обеими руками, прошло; теперь нужно было обойти весь сад, чтоб набрать два кило цветов. Над сборщицей в синем ситцевом платье дрожали белые крылья ее соломенной шляпы. Розовые кусты приходились ей не выше колен; она гибко наклонялась, чтоб сломать стебель на уровне чашечки. Лишенные цветов поля представляли теперь собою одну зелень. У жасмина женщины работали, присев на корточки.

Бряцанье садовых ножниц было единственным звуком в этих садах терпенья, где рука работницы должна была поочередно коснуться каждого цветка. На шпа-

лерах, вытянутых на железной проволоке, трепетали обрывки соломенных завязок, похожие на насекомых. Старинные насаждения поддерживались тростником и светлыми жердочками выделялись среди легкой зелени.

Монье разыскивал крестьян партии Гига и предлагал им за жасмин двадцать пять франков пятьдесят сантимов — на десять су меньше, чем упрямым хитрецам: Теуло и Массу. Комиссионер пользовался малейшей благожелательностью к его особе и стремился подешевле купить у тех, кого он называл своими друзьями. В каждом засаженном участке он насчитывал крестников. В семьях, где ему говорили при встрече: «Воцап жо, раїтін! Здорово, кум!», он надеялся всегда оставаться хозяином положения.

Цветочный барышник печально бродил по округе, начавшей давать отпор коварному добродушному единомышленнику заводчиков. В залитых солнцем садах он мог видеть людей, освободившихся от его власти. В прежние времена, упрашивая его купить цветы, они говорили: «Всякому жить хочется!».

Теперь, подписав столько десятилетних контрактов и поработив столько свободных цветов, он мог повторять это сам.

Куда ни обращал он свой опечаленный взор, все вокруг весело зеленело. Алые цветы гранатов украшали рубинами изумрудную листву. Зной, казалось, повис в неподвижном воздухе. Ничто не шевелилось. Лишь вода, журчавшая в ручьях, оживляла ландшафт, в котором белые, незащищенные деревьями дороги впивали в себя неистовые солнечные лучи. Свет подавлял землю. Нагретая растительность в знойных орошаемых садах, укрощаемая, питаемая водой, вырывалась, разъяренная солнцем. У оград, где обрывались стройные ряды растений, росли дерзкие кусты шиповника и ежевики, сплошь закрывая стены, по которым

снова ящерицы, и протягивая прохожим колючки и шипы, покрытые пылью, точно снегом. Все сверкало и пылало.

Дорога дымилась позади коляски Монье, замедлившего ход при встрече с мулом из Пьемонта, которого вел под уздцы крестьянин; он поклонился, сняв свою широкополую шляпу со вдавленным дном, в противоположность итальянцам, которые или заламывают тульи по длине или оставляют их остроконечными. На крестьянине, направлявшемся в Грасс в своей праздничной одежде, красовалась фланелевая жилетка и черный галстук. На седле, посреди мешков, свесив ноги влево, сидела крестьянка, покачиваясь на каждом шагу сильного животного, малейшим движением копыта поднимавшего тучи пыли, от которой побелела его шерсть. Высоко взгромоздившаяся женщиной, одетая по-старинному, в соломенной шляпе, отмахивала зеленым тростником мух от головы навьюченного мула, радовавшегося дерзкому солнцу.

Грязная вода, устремлявшаяся из Грасса, вносила приятное оживление в неподвижность безветренного ландшафта, где лишь слегка колыхалась трава, увлекаемая течением.

Солнце сверкало золотом. Свет, не смягченный ни малейшей дымкой, заливал все вокруг, ударяя отвесно в молчаливую землю. Струящаяся вода весело смеялась среди всего этого необъятного солнечного пожара. Под знойными лучами жасмин наливал нежно-белые благоухающие цветы. Возле сада Теуля Монье увидал сидящего Ренэ, с заступом между колен. Ребенок не ответил на приветствие комиссионера, который опечалился еще больше, видя в том, что казалось ему презрением, доказательство своей непопулярности. Мечтательный ребенок не замечал ни дороги, ни того, что на ней происходило.

Он был далек от всего земного. По утрам предметом его восторга бывали цветы и плоды — фиалки под померанцевыми деревцами, майская роза и созвездие цветов в траве. Он усмехался золотому факелу дрока или птице, сидящей на терновнике. Но когда солнце поднималось высоко, мечтою Ренэ завладевал свет. Зной он воспринимал, как радость. Небо было для него сплошной лаской. Опечаленный холодом и веселясь при виде солнца, он обожал тепло. Юг был для него богом.

Когда, в часы зноя, крестьянский люд искал тени для отдыха, Ренэ не смыкал глаз, преисполненный мечтательности, и улыбался свету, от которого прятались другие. Он грезил среди политого жасмина, под благословляющими лучами солнца.

Ребенок жадно упивался красотой неба. Ему начало казаться, что он поднимается в лучах, становится сам светом, пред лицом солнца и феи оливковых деревьев — прекрасной женщины, более ослепительной, нежели июньский полдень.

Дениза и Поль привыкли к могучему солнцу, лечившему рану мужчины, одно из легких которого кровоточило. Среди всех остальных вилл, запертых до будущего года, один только их дом стоял с открытыми ставнями.

— Мы уедем,—сказал Поль,—когда начнется рубка Кастелланского леса: брат просил меня быть там при начале работ.

Всякий раз, как он заговаривал о труде, радостное сиянье в глазах Денизы потухало. Она ревновала его ко всему, что отвлекало его от нее. Он знал это, как знал каждое ее душевное движение, и одним взглядом постигал ее боязнь быть для него не всем.

Она восторгалась им, погружаясь в бездны нежности, раньше, чем прошептать мольбу:

— Не надо перемывать место. Не надо изменять нашу жизнь.

Опьяняясь сладострастием и гордостью от сознания своего господства над этой великолепной работой, он чувствовал, как любовь его растет при мысли о том, что он может заставить ее страдать. Он обожал выражение мольбы в этом прекрасном взоре.

— Ты боишься. Чего?

— Быть любимой меньше. С тех пор, как есть любовь на земле, не было женщины — как бы прекрасна

она ни была и будь она даже царственной крови,—которая не испытывала этой боязни. Даже наиболее обожаемая трепетала, как я трепещу перед тобой, если она любила. Ибо таково назначение мужчины — думать не только о нас, а наше — помышлять только о нем одном. Все, что отдаляет тебя от меня — вне твоей власти: таков ужасный закон, повелевающий, чтоб мужчина жил не одной только любовью.

Она закрывала глаза, подчиняясь судьбе. Он осыпал ее ласками, расточая те силы, которыми его дарило солнце, и с восторгом замечая, на какие высоты понимания подымает Денизу ее пламенная любовь.

Они слушали, как растут их вздохи. Каждый из любовников с восхищением внимал прерывистому дыханию другого, чувствуя, как его тело трепещет от наслажденья. Мужчина, гордый своей властью, и женщина в яростном желании раствориться в нем, шептали слова безмерной нежности. В потоках поцелуев они впивали грозу своего дыхания. Скрыв лицо меж ее грудей, он медленно рассматривал ее кожу, столь белую раньше и потемневшую от солнца вследствие нежелания разъединяться с ним. Волнение женщины таилось глубоко в ней, ни единой складкой не отражаясь на поверхности ее упругого тела.

Аромат влюбленной женщины вызывал в памяти работу завода Гига, где Дениза, обожавшая благовония, приобрела эссенции. Но запах их не мог победить присущего ее телу аромата. Среди благоухания полей, покрытых нежными цветами, любовь источала редчайший аромат, таинственным могуществом которого не обладал ни один цветок.

Поль спросил:

— Какое благоухание царит сегодня в дыхании ветра?

— Жасмина, — сказала она.

Он ответил:

— Твое. Вертоград твоего тела слаще всех садов. Ты напоишь благовонием самый рай. Твой аромат нежнее всех других ароматов.

Но она ясно чувствовала первые вздохи цветов Теуля, который просил Маргариту Бертолотто привести к нему для сбора цветов детей с улицы Роашье. С ними ему не надо было так возиться, как с работницами, являющимися со стороны: служанками зимних отелей, мастерицами тех модных ателье, которые работают только в продолжение сезона.

Теуль пообещал Маргарите Бертолотто и Зуне по тридцать су за кило жасмина.

— Вы, с вашими ребятами, зашибете деньги!

— Ребятишки, — сказала Маргарита Бертолотто, — большая помощь при сборе жасмина. Они такого же роста, как и кусты. Им не надо наклоняться.

Тело старой работницы ныло от утомления.

Она ненавидела фиалку, искать и срывать которую приходилось, стоя на коленях. От роз, снимать которые было просто, и жасмина, который надо было только потянуть, пальцы болели не так, как от других растений, энергично сопротивлявшихся. Маргарита любила те цветы, которые сами тянулись к ней: туберозы, стебли которых приходились ей на уровне груди. Крестьяне охотно разводили это податливое растение; они продавали его на рассаду; луковицы его, стоившие двадцать лет тому назад пять франков двойной декалитр, в настоящее время продавались по четыреста.

Масс поместил у себя на чердаке швею с Антиб с десятилетней дочерью. Безработный или недовольный заработком народ направлялся в Грасс.

Вследствие усиления работы в садах и на заводах, в город и деревни стекались работники с берега моря и из-за Альп. Лачуги в старых улицах бывали перепол-

нены. Сборщицы ютились на каждом крестьянском чердаке. Полина Гасто бросила давяльную и явилась к Теулю:

— Mi voulés? Нужна я вам?

— Trenta soù lou kilo. Тридцать су за кило.

— Va ben! Идет!

Мелкие остроконечные бутоны на зеленых, благодаря правильной поливке, кустах были розоватыми. Первые цветы распустились в этот июльский вечер. Полная луна, заливавшая светом все пространство, бросала на белую дорогу отчетливые черные тени. Ночь не поглотила оттенков: они оставались различными, только поглубели. Самый мрак казался светлым. Необъятное, усеянное звездами небо позволяло постигать бесконечность. Полуденное солнце заставляло всех опускать глаза. Полночь устремляла все взоры к горизонту, свободному от всякой мглы. Мягкий лунный свет все сильнее и сильнее заливал бездонное небо. Вкрадчивый блеск месяца побеждал звезды, ставшие простыми точками на сияющей лазури. Ничто не было темным. Золотой полуденный свет сменялся к полночи серебром.

От невысоких отрогов Альп вплоть до искрящегося звездами, светящегося и ясно различимого моря млечный путь раскинул свою льняную, усеянную бриллиантами перевязь, вытканную в первый день мироздания. Никакого ветра, никакого шума — одна прозрачная ясность в воздухе, более нежном, чем поцелуй женщины.

Бесчисленность миров царил над бесчисленностью цветов. Белыми созвездиями сверкал жасмин в листе. Росхитительными вздохами своими начинали они поить благоухающую землю. Аромат царил, такой же острый и пронзительный, как и свет. Состязались два начала нежности: свет и запах. Роза дарила свою душу солнцу. Жасмин — звездам.

В нескольких километрах от Грасса сады наполняли благоуханием ночь. Восхитительное могущество земли, расцветающей белыми цветами, поднималось к цветению светил на небе. Было слышно, как дышит мир под страшно-безмятежным взглядом созвездий.

В доме Теуля Ренэ, зачарованный ребенок, мечтал, устремив взоры к звездам.

В восторженные глаза его, где еще тяготело тяжелое пламя солнца, вливался спокойный свет, завладевший душой Ренэ так же, как и всею бесконечностью ночи. Ребенок был лучом, спокойствием и благоуханием. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, он позабыл про сон, испытывая восторг. Тени нескольких платановых листьев, упавшей на дом, было достаточно, чтоб измерить его маленькое брненное тельце, в котором трепетала вечная жизнь. Нежный голос оживлял сад. Жаба-Пузан, опьяненная лунным светом, пела под платаном Доминус.

К семи часам утра руками сборщиц было собрано полтора кило цветов — скудный сбор первого дня, 23 июля; настоящее цветение должно было начаться только в августе.

Зуна, бывшая когда-то сама хозяйкой и распоряжавшаяся на своем маленьком участке, проданном Гигу, с горечью сказала хозяину:

— В те времена, когда за жасмин платили двадцать су, сборщицам приходилось четыре су за кило. Я сама платила столько, и вы, и все кругом. Четыре доли хозяину и одна сборщице. Теперь жасмин стоит двадцать пять франков, и это составляет пять франков на сборщицу.

— И это говорите вы, грасская жительница!

Он не стал спорить с ней, так как ему казалось бессмыслицей платить пять франков вместо четырех су за кило собранного жасмина.

Сборщики настаивали на обычных двадцати процентах. Владельцы садов негодовали на это.

— Мы, — сказал Масс, — платим за день больше, нежели заводчики, — восемь франков.

Пьер Феррари, к которому обратились сборщицы в Муан-Сарту, не пошел к ним. Опасался ли он неудачи у крестьян, после того, как Мюсс потерпел поражение у заводчиков? Полина Гасто шлепнула его рукой пониже живота.

— Значит, вы теперь уж ни к чему больше не годитесь! Деревня ждет, чтоб синдикат стал во главе!

— Синдикат, — ответил Пьер Феррари, — будет заботиться только о своих членах. Сборщики цветов — это не рабочая корпорация. Собирать цветы может каждый: школьники, безработная прислуга. Когда есть жасмин, их тут куча, потом все разбегаются. Каждый возвращается к своему делу.

Грасские синдикалисты не хотели поддерживать этих номадов, желавших получить больше, нежели постоянные рабочие на заводах. Но с каннской биржи труда явился двадцатисемилетний Жан Мазье, бывший солдат 311-го линейного полка. Он ненавидел всякого, кто пользовался чьим-либо наемным трудом. Хозяин казался ему тем ненавистнее, чем большим числом рабочих он располагал. Величайшими преступниками были для него не убийцы, а работодатели.

Совещание садоводов и сборщиков цветов состоялось 3 августа в зале «Синдиката земледельцев», на двери которого значилось: «Входить не стучась!».

У владельцев садов были все те же делегаты: Морен, Теуль, Масс, Рибери из Муан-Сарту. Оставалось неизвестным, каким образом сборщики, рассеянные по окрестностям, могли выбрать своими делегатами Полину Гасто, в красивом желтом ситцевом платье, старика, бывшего раньше содержателем кафэ и корреспондентом газеты в Ницце, явившегося вместе с женой, на которой была черная шляпка, и Жана Мазье из Канна, аттестованного Мореном:

— Агитатор!

Жан Мазье сказал:

— Вы слишком долго были порабощены заводчиками. Теперь, когда вы освободились от них, благодаря своему богатству, вы становитесь такими же неподатливыми на плату, какими они были раньше по отно-

шению к вам. Сами вы перестали быть нищими, однако, не хотите, чтоб их совсем не было!

Он слишком долго злоупотреблял вниманием собравшихся. Масс задыхался, слушая его, так как слово было для него дыханьем. Он закричал:

— Вы грозили нам, что срежете жасмин! Тридцать лет мы работали в Грассе для того, чтоб канские бездельники явились разорять наши сады! Я стрелять буду, стрелять буду!

Можно было подумать, что они убьют друг друга. Морен, одетый по случаю жары в белый костюм, ударил кулаком по столу:

— Позвольте! Я, наконец, взбешусь!

Жан Мазье возразил:

— Это право каждого!

Они кричали, доказывая, что каждый в праве кричать. Они богохульствовали и поносили матерей своих противников и деву Марию:

Бога они третировали, как подлеца: «*Couquindé Diou!* Старикашка проклятый!».

Одного Христа пощадили они от ругательств. Они прицеплялись к именам, стране, обуви:

— Коли вас звать Жаком, так мы вас и испугались.

— Вы воображаете, что весь мир должен дрожать перед вами, потому что вы из Канн и нацепили желтые башмаки!

Жена содержателя кафэ, старая и не склонная к буйству, пыталась разговориться с Рибери из Муан-Сарту, тихим стариком; он хвалил красноречие Морена.

— Ловко он брешет!

Полина Гасто кричала, как и всегда, когда она на что-либо негодовала:

— Нет, никогда в жизни не видала я ничего подобного!

И она испускала длительное восклицание «Уу!», такое громкое, словно хотела остановить криком четверку несущихся лошадей:

— Ууу! Никогда в жизни не видела я ничего подобного!

Но неистовое восклицание это было для нее обычным и для незначительных событий. Порывистая, как воды ее страны, она резко переходила от гнева к радости.

В общем гвалте можно было разобрать отдельные фразы:

— Девятилетний ребенок получает восемь франков!

— Надо поступать, как на заводах: не брать моложе тринадцати лет!..

— Работа, — прежде всего, — французам. Итальянцев должно быть не больше трети!

— И чистое помещение! Не на соломе, как скотина!..

Крикуны пыхтели, слушая Морена, призывавшего к порядку.

— Позвольте! Неужели же мы должны поощрять алчность? Вы требуете от нас тем большей платы, чем дороже стоят цветы. Вы можете требовать за рабочий день не больше, чем фабричные рабочие. Мы устанавливаем плату за собирание цветов такую же, как на заводе: восемь франков — мужчинам и женщинам без различия!

Синдикалисты - хозяева и синдикалисты - работники заспорили относительно количества цветов, какое можно собрать в продолжение дня. Все рты были широко раскрыты, все размахивали руками, благодаря чему собирание больше походило на бунт. Жан Мазье вышел, хлопнув дверью; он дошел до бюста Леона Шириса и возвратился, чтоб выслушать, как Морен говорил:

— Впервые заводчики платят нам за цветы столько, сколько они стоят.

На ненависти к капиталистам все мнения объединились.

Затем представители бедноты стали отстаивать свое:

— Но вы должны платить нам больше...

Морен пообещал:

— Предоставьте это нам. Имейте к нам доверие!

Жан Мазье пришел в негодование от этого добродушия. Он желал восторжествовать и добиться увеличения платы.

И он протянул, как нищий:

— Ну так ка-а-к же?

Морен отвечал тем же тоном:

— Да та-а-а-к же!

Спор разгорелся снова:

— Вы еще худшие эксплуататоры, нежели заводчики!

— Посмотрим, чья возьмет!

Жан Мазье, окончательно потеряв голову, пел «Интернационал» прямо в лицо Морену:

— ... наш последний и решительный бой! — рычал он своим баритоном, выделявая фиоритур, как шантанный певец.

Позади жестикулирующей и кричащей толпы безмятежно улыбался видимый из окон ландшафт. Куда ни глянь — всюду пышно раскинулись шатры зелени. Солнце, самодержавно царившее уже три месяца, в продолжение которых ни малейшее облачко не смело покуситься на ясность неба, заливало потоком своих лучей орошенные влагой сады. Быстрая вода в канале Фулона, бегущая по склону холма, оживляла серебряным взглядом величественно-спокойное лицо растительности.

Сборщицы, которым пришлось удовольствоваться тремя франками за кило, собирали бесчисленные цветы. Восемьдесят женщин из Валони остались без работы. Чтоб наказать их за их послушание Жану Мазье, владельцы садов взяли вместо них девушек с Антиб и из Кони. Итальянки всегда избирали путь через Альпы или узкоколейную дорогу из Ниццы на Драгиньян. В деревнях и на заводах не хватало рабочих рук для такого прекрасного урожая, за который платить приходилось семнадцать миллионов франков. Вождения и злоба затихали среди всего этого богатства и невероятного количества обращающихся денег, какого никто в этой стране пылкой фантазии не мог себе представить.

С раннего утра крики сборщиков, призывавших друг друга, чтоб итти сообща на работу, оживляли старые улицы Грасса «*Anén*» — говорили провансальцы, «*Andiamo*» — итальянцы.

В прежнее время крестьяне созывали своих работников посредством раковин, звук которых узнавали призываемые:

— Это Сен-Жак!

— Это Мадлен!

У Теуля сохранились две большие раковины, которыми он давал сигналы к пробуждению во времена своей

молодости. Один из фермеров Гига, бывший городским музыкантом, пользовался с этой целью тромбоном.

Во время полного цветения приходилось наблюдать по ночам за небом и созывать людей, как только становилось облачно, чтоб снять цветы раньше, чем их прибьет грозой. Собирали при свете фонарей, подвешенных на шпалерах. Детей, испуганных приближающейся молнией, безжалостно понукали, чтоб поспеть убраться до непогоды.

Ночная работа была обычной в те времена, когда парфюмер говорил:

— Жасмин лучше пахнет ночью. Не собирайте его при солнце!

Крестьянин отвечал, снимая шляпу: «*Couma voulès, mestré!* Как вам угодно, хозяин!», и оставался бодрствовать у шпалер, пока только можно было различать белые цветы, почти до самой зари.

Теперь, в пять часов утра, поля кишели сборщиками. Дети, не доспавшие в своих грасских лачугах и на чердаках ферм, зевали над растениями.

В саду Теуля босиком топтались дети Зуны, маленький Жаннен и три девочки, приведенные Маргаритой Бертолотто из квартала Роашье. У всех сборщиков были корзины, надетые на руку или подвешенные к поясу.

Жасмин, более нежный, чем розы, не выносил укладки в мешки.

Жена Теуля принесла две новые корзины, за которые заплатила по шести франков; она негодовала на это обстоятельство, говоря, что в 1913 году их можно было получить за двадцать су. Она любила жаловаться на дороговизну вещей, которые приобретала. Ни она, ни Теуль цветов не собирали.

Растения, сильные благодаря ночной свежести, еще не исчезнувшей из темно-зеленых листьев, мужественно

удерживали свои цветы, из которых на многих сидело по шести лепестков, вместо четырех — признак мощности кустов. Цветы щелкали при срывании. Под рукой сборщиц жасмин говорил. И только этот единственный звук оживлял сад, заключающий в себе целое богатство. Каждый треск обозначал сорванный цветок. В кило их было около тысячи. Сборщики молча двигались по рыхлой земле. Они быстро переходили с места на место, спеша окончить работу до наступления зноя, уже томительного в семь часов утра. Большие соломенные шляпы закрывали плечи женщин. В саду Масс дрожали ленты на головном уборе антибской швеи и ее маленькой дочки, в синем с кружевцами фартучке.

Люди, занятые различными малоодоходными ремеслами, стекались на вакации в деревни, чтоб отдохнуть и заработать побольше, нежели в конторах или в господских домах.

Кроме антибской швеи, Масс подрядил двух писцов из конторы нотариуса, охотно и усердно занимавшихся этой нетрудной работой, — все дело сводилось к тому, чтобы не оставить на зеленых шпалерах чего-нибудь белого!

Невыспавшиеся дети проявляли меньше рвения; они пропускали цветы, зачастую срывая их одной рукой и держа в другой корзину, вместо того, чтоб повесить ее на локоть или прицепить к поясу.

Побледневшие в знойном климате бесцветные щеки детей свидетельствовали о том, что они родом из страны, где мало атмосферных осадков. Анемичные, болезненные благодаря сухости воздуха, местные жители выглядели плачевно рядом с приезжими, привозившими с севера красивый румянец. Население крепкое, взрощенное холодом, начиналось лишь у подножья Альп, покрывавшихся зимою снегом. В Вансе, стране цветов, половина рекрутов была забракована при осмотре,

тогда как в сорока километрах оттуда, 1250-ю метрами выше, в Курсегуле, все без исключения мужчины были красивыми молодцами, годными для армии.

Хилые дети, еще совсем заспанные, просыпались по мере того, как поднималось солнце, и подбирались к фигам и персикам на ближайших деревьях. Но крестьяне зорко берегли свое богатство. Они позволяли лакомиться плодами только за завтраком и за ужином. За все, что произрастало, платили слишком дорого, чтоб обращать это в удовольствие. Корзина черных или зеленых фиг стоила раньше гроши, теперь же оплачивалась франками. Богатые крестьяне забывали ту щедрость, с какой прежде угощали работавших на них.

На месте погибшего жасмина, нарушавшего правильность шпалер, Теуль посеял кукурузу, Масс — капусту.

Малокровные дети, явившиеся из лачуг, работали, склонив утомленные головы над многолетними растениями, обволакивавшими их благоуханной лаской. Ребят будили каждое утро в тот бледный час, который бывает между днем и ночью. Луна изменяла свой цвет в поглубевшем небе, где потухали звезды. Глаза детей, предпочитавшие оставаться закрытыми в сладком сне в смрадных и душных конурах, должны были открываться навстречу красоте мира, смеющейся над обездоленным человечеством. Заря, погасив великолепную ночь, на мгновение печалила землю. Небесная лазурь постепенно становилась различимой, благодаря новому свету, вставшему из-за холмов. Прозрачный сумрак, пронизанный серебром, бледнел на грани между умирающей ночью и рождающимся новым прекрасным днем. После бесчисленных зорь, занимавшихся над землей, снова возобновлялось медленное бегство тени перед бледным светом. Затем наступал час появления божества.

Раздувая пламя костра, растущего за холмами, вновь показывалось солнце.

Крестьяне, поднявшиеся с зарей, для того, чтобы пользоваться прохладой, начинали искать тени гораздо раньше полудня; они ели в тени, пили, засыпали на какой-нибудь часок и снова принимались работать, вплоть до момента, когда мрак не позволял больше различать траву и камни.

Прилежные сборщики, настигнутые жгучим солнцем, спешили воспользоваться последними прохладными вздохами сырого сада. Босые ноги их были черны от земли; у носильщиков же, доставлявших на заводы корзины, прикрытые полотном, с целью защитить содержимое от солнца, ноги были белы от дорожной пыли. Цветы, увядая на солнце, переставали сопротивляться рукам сборщиц. Белые трубочки не щелкали больше при срывании. Утомленные зноем, они покорялись. Каждый работник, опоражнивая свою корзину, старательно отделял свои цветы, чтоб можно было взвесить собранное каждым.

В саду Масса плакала антибская девочка, получившая нагоняй от конторщика, которого звали Онорэ, как Фрагонара из Грасса.

— Ты у меня ворует! Сразу видно, что антибская!

Он попрекал родиной каждого, кто не принадлежал к числу его земляков-грассовцев.

Девочка побежала к матери. Та утешала ее: «Полно, полно!», высмеивая профессию человека:

— Пачкун! Сутяга! Не велика птица — нотариус!

Ссора разгоралась в благоуханном саду. Конторщик призывал в свидетели товарища:

— Послушай-ка, ты, подтверди!

На шпалерах Теуля, Маргарита Бертолотто и девочки из Роашье собрали 6 кило 20, Полина Гасто 4 кило 850, Зуна с детьми и питомцем Жанненом 5 кило

888; всего на четыреста шестнадцать франков, — пятьдесят франков на всех сборщиц.

Все оставили свои корзинки под платаном, прохладная тень которого радовала пришедших из сада людей. Зуна, лишившаяся имения, огорчалась при виде такого богатства. Мария Теуль поставила на каменную стенку сада салатник, доверху наполненный красными томатами и зеленым перцем.

Черные глаза веселой старухи-бабки смеялись из-под шляпки, подбитой желтой материей:

— Бедные вы люди! Бывало, прежде, за жасмином пели! Теперь вы только ссоритесь. Я видывала, как водили хороводы вокруг наполненных корзин. Тогда не требовалось столько денег, сколько теперь. Теперь вы только считаете и не поете больше:

Любовь пройдет, увидишь сам,
Иди ж плясать, иди кружиться...

Старое рондо, любовное и насмешливое, отрицающее длительность любви: «Любовь пройдет, увидишь сам...» вызывало улыбку на губах старухи с детским лицом. Полина Гасто, насмешливая и нежная, как сама песня, взяла сначала ее за руку, потом Ренэ, зачарованного ребенка. Втроем они начали кружиться вокруг спрятанного под полотном сбора. Невидимые в прикрытых корзинках цветы сопровождали песню чарами своего аромата.

Увлеченные примером бабки, все сборщицы пустились в пляс, как в те времена, когда девушки вознаграждали себя за работу старинной фарандолой «*Lou eavagnon ой bras — с корзинками в руках*».

Теуль запяг мула, который должен был везти сбор на завод. Он не посмел прервать хоровода для того, чтобы взять цветы. Песня защищала их. Ноги старухи чертили на земле заколдованный круг.

Глаза Ренэ расширились при появлении Денизы в ослепительном розовом платье. Она шла об руку с Полем. Кротостью утра сияли красные губы влюбленной.

— Принимаете меня? — спросила она.

Она присоединилась к танцующим. Крестьянки, испуганные ее изумительной красотой, замедлили шаги. Аромат чудесного тела присоединился к благоуханию, исходившему из корзин.

Песня, высмеивающая непостоянство любви, возобновилась:

Любовь пройдет, увидишь сам,
Иди ж плясать, иди кружиться...

Ренэ, руку которого держала Дениза, двигался с закрытыми глазами. Восхищенный, он с отчаянием ждал момента, когда рука феи выпустит его пальцы. Это казалось ему чем-то в роде смерти. Солнце должно было погаснуть для него, обвороченного поклонника света.

Старуха Теуль, довольная присутствием прекрасной женщины, тянула ее, говоря:

— *Venés, cantés, bella fruma!* Идите, пойте, моя красавица!

Зуна принесла с собой в хоровод печаль бедняка, Мария Теуль — высокомерие богатого, Маргарита Бертолотто — сознание, что добросовестно поработала на хозяина — *lou mestré* — Полина Гасто, в своих ситцевых тряпках, столь же созданная для любви, как и эта женщина в шелковых, скользящих, подобно солнечным лучам тканям, — свою дерзость.

Платан благословлял своей тенью благоухающий хоровод. Свет, падая на землю, высушивал влагу под кустами жасмина. Чувствовалось, как зной охваты-

вает мир вплоть до глубин горизонта, где светилось море. Ни малейший ветерок не веял с Альп. Пыль на дороге обжигала ноги несущих цветы.

Полдневный пыл одолевал хоровод; у танцующих детей, разбуженных слишком рано, спалились веки. Голоса их и шаги становились все тише, по мере того, как уставала старуха; голова ее тряслась под шляпой.

— *Aquelle frumé!* Уж эти женщины! — сказала Теуль, переступая черту разорванного хоровода.

В сарае, где топорщились земледельческие орудия, среди которых находился и старый перегонный куб, крестьянин обрызгал жасмин водою, как это делают садовники, посредством пульверизатора, удобнее лейки позволявшего распределять на цветах влагу, от которой они становились тяжелее. Нагруженная тележка покатила к заводу Массьерра, куда в продолжение дня было доставлено пять тысяч кило цветов. Женщины, обладательницы крошечных садов, приносили по восьми грамм в своих носовых платках.

Позади тележки Теуля шел босиком старик-крестьянин, в рубашке и панталонах, пристегнутых к полотняной жилетке. Капли пота унизывали его волосатую грудь. На голове он нес корзину, столь нагруженную, что закрывающий ее холст вздувался парусом над массой цветов, трепетавших при каждом шаге утомленного человека. Плечи у него были подняты до ушей. Он шел, как пилигрим — два шага вперед и шаг назад, чтобы удержаться на крутом подъеме, оттягивавшем его бремя с подложенной под него, из боязни натрудить голову, соломенной подушечкой.

Приемщик помог ему снять с головы ношу. Радаясь освобожденью, крестьянин отдувался с серьезным видом. Он вырастал по мере того, как опускались его плечи и выпрямлялась шея.

Приемщик крикнул:

— Двадцать три кило двести, корзинка весит три кило триста!

Старик доставил девятнадцать кило девятьсот грамм цветов, на 497 франков 50 сантимов. Вес округляли: это было своего рода премией, цель которой была заполучить побольше цветов. Крестьяне любили доставлять цветы тем фирмам, где девять кило девятьсот тридцать принимали за десять.

Приемщик погрузил руку в цветы:

— Это роса! Дождя не было вот уж четыре месяца.

Во времена зависимости крестьян от заводчиков, парфюмеры имели обыкновение ударять цветком по пропускной бумаге, чтоб определить количество капель в каждой розе, что потом сбрасывалось с общего веса.

Носильщики вываливали белый жасмин на красные плиты в зале мацерации.

Массьерра должен был получить цветов на двадцать тысяч кило больше, нежели фирма Гиг и К°,—однако, это было не единственной причиной его торжества. Он переманил у своего соперника химика Шарля Борсетти, которого грассовцы, почетные завсегдатаи кафе «Монте-Карло», посещаемого офицерами пехотного стрелкового полка, называли в болтливые часы аперитивов перебежчиком.

Питалуга, агент фирмы «Буа, Муре-Брю и Бавека, Ницца», явился к вермуту, приветствуемый друзьями и клиентами: «Добрый день, господин Питалуга!» или просто: «Питалуга, здравствуй!».

Лучшими его покупателями были владельцы заводов брильянтина и нантские сардинчики. У него была привычка хвалиться своим родным городом, что раздражало грассовцев. Они называли себя провансальцами, а уроженцы Ниццы говорили о себе: «Мы ниццианцы! Sien nizzartél». С 1880 по 1920 год население их

города увеличилось с 60.000 жителей до 135.000, тогда как Грасс, сохраняя старинную гордость, попрежнему оставался при своих 19.000, из которых 8.000 были итальянцами. Богатство досталось Грассу не легко, как Ницце, разбогатевшей благодаря зимующим иностранцам, но путем тяжких трудов. Грасс называли «надушенным нищим» еще в те времена, когда там переносили только лаванду и апельсинные цветы, доставлявшиеся, к тому же, всего раз в год на мулах на ярмарку в Бокер, скорее для аптекарских целей, нежели для парфюмерных.

Ницца, расположенная на берегу моря, обслуживаемая судами и давно уже снабженная прибрежной железной дорогой, идущей вдоль великого итальянского пути, с узкоколейной веткой через Альпы, обладала уже быстрыми средствами сообщения в те времена, когда Грасс, упрямый и бедный на своем холме, довольствовался еще мулами. Эта разница между блестящей и удобно расположенной Ниццей и Грассом, куда взбираться приходилось с трудом, была географической причиной их постоянного соревнования, которое прорвалось и в нападках Морена на вечно простуженного Питалугу.

— Вы олицетворяете собой не промышленников, а карнавал. Вся забота ниццианцев состоит в том, чтоб нацепить фальшивый нос, а не заниматься делами. Вы продаете масло, потому что мы предоставили это вам. Но что касается духов—тут вы с нами ничего не можете поделать. Мы—промышленность. Вы—сплошной праздник. Богатство Ниццы является результатом ее соседства с Монако, куда весь свет съезжается играть. Если бы этому княжеству, на скале, хватило места, чтобы разрастались вокруг казино, Ницца была бы тем же, что и Канн, где число жителей уменьшается. Во время войны, в первую же зиму вы выслали десять

тысяч безработных проституток. Наше дело—заводы, ваше — отели. У вас не рабочие, а прислуга, ваша специальность — ресторанные услуги. Вы называете себя садоводами, но все наши лучшие растения, все пальмовые кусты доставляются вам из Гента, зимние фрукты, декабрьский виноград присылаются вам из Брюсселя. Вы собираете то, что произрастает само собой, но не разводите ничего сами. Оранжереи стран угля посылают вам свои продукты.

— У нас зимуют известнейшие семьи, но если бы мы пожелали привлечь толпы иностранцев, нам удалось бы это лучше, нежели вам, так как вы повырубили свои деревья, чтоб дать место пятиэтажным домам. Торчат лишь карнавальные мачты. Уже двадцать лет, как срублен эвкалипт на площади Массены, столь прекрасный, что вы должны были бы признать его божеством города. Все ваши Рамента, Пуллань, Пяута и Борильоне доспекулировались земельными участками до того, что вы уничтожили все сады и лишили тени жаркий город.

— В 1882 году мэр наш, Борильоне, и его помощник Баралья, купили участок Пиоль, над вокзалом. Дороги туда не было. И вот устроили выставку, весьма убыточную для города, но заставившую проложить туда дорогу, что подняло ценность участка. Ваши главные политические партии: Рис и Перец — «Viva lou Riz! Viva lu Pebrè!» — были лишь грязными денежными спекуляциями.

Питалуга, обладавший саркастическим умом, напомнил ему о грасских расправах:

— Так-то оно так. Среди вас нет двух человек, которые были бы между собой согласны, но все вы дружно ополчаетесь против Ниццы. Ваши богатейшие парфюмеры не бывают друг у друга, чтоб не понести расходов и не помять ковров.

Морен, переменяв аудиторию, предложил вермуту и свои советы Шарлю Борсетти.

— А ведь Гиг может привлечь вас к ответственности за то, что вы применяете его секреты на заводе его конкурента!

— Ремесло мое, — отвечал Борсетти, — состоит в исследовании составных частей натуральных эссенций и замене их искусственным продуктом, обладающим тем же запахом. Это — способ синтетического воспроизведения эссенции. Путем разложения розы приходишь к феноловому алкоголю, путем разложения фиалки — к иону.

— Но можно наткнуться на то, чего и не предполагаешь. Совершенно случайно получаются продукты, которые пахнут иногда совсем неожиданно: изо-эйгенол, пахнущий гвоздикой, не является ее составным элементом. Фениловый алдегид пахнет гиацинтом, гидроксицитронелю — тополем и ландышем. Почему — неизвестно. Таким образом, химик преуспевает, и если он много работает и если ему везет. Бывают комбинации, над которыми приходится долго биться, чтоб сообщить им желательный запах, но бывают и такие, где это происходит само собой.

— Я весьма прилежный химик, и счастье мне иногда улыбается. Юридически я ничем не связан. Я покинул фирму Гига, чтобы свободнее работать в лучшей обставленной лаборатории.

Говорившим ему: «Вы совсем не грассовец!» он отвечал: «Я — химик».

Его дело заменяло ему отчизну. Кирилл Ривара перестал кланяться изменившему фирме Гига, Борсетти презирал управляющего, подменившего ему материал для опытов; это было бессовестное мошенничество, от которого он считал себя застрахованным на заводе Массьера, где он приступил к исследованию работ над жасмином.

Холодное настаивание свиного сала, одобренного говяжьим, происходило в зале, шумном от передвижения рамок. Никаких машин. Только работа рук над деревянными рамками и стеклом.

Таинственное соединение мертвечины с цветом достигалось здесь не при помощи высокой температуры, как при манипуляциях с розой. Жасмин был разложен на тонких слоях жира, помещенных на стеклянных пластинках.

Коварные трудности ремесла преследовали Борсетти. Ему пришлось столкнуться с другим механиком, Бодом, инженером, окончившим Институт Искусств и Ремесл. Он был гравировщиком, но не разделял ни их гордости, ни самомнения. Частые путешествия по делам фирмы выяснили ему значение Грасса на белом свете. Он проводил большую часть года в Сирии и Болгарии, наблюдая за производством и закупками филиальных отделений фирмы Массьерра. Он сказал Борсетти:

— Применение механических способов при настаивании жиров на жасмине освободило бы нас от половины рабочих. Можно было бы заставить рамки скользить в пазах, при вынимании цветов из жира, таким образом, чтоб они ударялись о стол, как если бы их ударила работница, то-есть соорудить машину, подражающую движению человека. Это несколько не отразилось бы на качестве продукта, но ускорило бы и удешевило производство. Но можно также изобрести машину, которая и не подражала бы человеческому движению. В таком случае, мы отрешаемся от всего приобретенного опыта и опираемся на чистую математику. Нетрудно сконструировать распределитель, который рассыпал бы на рамки точно исчисленное количество цветов, заменяя этим руку рабочего. Но самая кропотливая работа — это извлечение из жира цветов, передавших ему свой запах.

— Работницы ударяют по столу перпендикулярно поставленной к нему рамкой, с целью удалить путем сотрясения возможно большее количество цветов. Затем они снимают рукой те из них, которые пристали особенно крепко и для которых недостаточно сотрясения.

— Поставив рамку стоймя, работница приводит цветы в такое положение, при котором они должны упасть, и помогает этому путем встряхивания. Этот старый прием работы вполне разумен и находится в соответствии с законом тяготения. Тем не менее, цветы приходится вынимать руками, как это делалось, когда вместо стеклянной пластинки в деревянной раме применялись старомодные миски.

— Еще недавно цветы клались на сетки, чтоб приподнять их затем одним взмахом; необходимость при этом способе очищать сетки от жира, во избежание его прогоркания, усложняет операцию. Надо только продолжить начинание работницы и заставить рамки опрокидываться, чтоб лучше использовать силу тяготения.

— Для механика не представляет особых трудностей привести рамки в движение таким образом, чтоб они опрокидывались над жолобом, принимающим цветы при падении. Но упадет вниз не все, кое-что останется. Механически мы можем сделать только черную работу. И только рука может довести ее до совершенства.

Механик Бод ставил перед химиком Борсетти ту же задачу, которая вставала уже перед Риваря при переработке цветов на заводе Гига посредством углеводородов: применение сжатого воздуха. Но вместо того, чтоб скрывать от него встречающиеся при этом затруднения, Бод заговорил о них прежде всего:

— Применять сжатый воздух для экстрагирования ароматов не годится. Нужно притянуть цветы и оставить нетронутым жир. Существует машина, снабженная щеткой с весьма мягкой щетиной определенной длины,

делающая над опрокинутыми рамками 4000 оборотов в минуту. Щетка касается жира и снимает все прилипшие цветы, кроме остатков от мусора, потонувших в массе. Извлечение их оттуда — это уже более тонкая работа, которую выполняет работница посредством деревянной шпильки. Щетка, делающая 4000 оборотов в минуту, обдаёт жир ветром, уносящим ароматические частицы. Замена ее сжатым воздухом сделала бы работу более чистой, но увеличила бы потерю ароматических частиц. Возместить частицы, унесенные при этой операции воздухом, зависит уже от вас и от химии.

— Эту трудную задачу, — ответил Борсетти, — можно не только разрешить, но просто обойти, применяя вместо липкого сала сухое вещество, с которым аромат имеет более сродства, нежели с салом — древесный уголь. Замечено, что в госпиталях уголь впитывает в себя все лекарственные запахи. Но к чему добиваться усовершенствования механических способов экстрагирования? Это дело старинных парикмахеров! Извлекать из цветов аромат следует химическим способом, посредством углеводородов. Нужны не жиры, а летучие растворители...

Разговаривая, Борсетти должен был вплотную подойти к Боду, так как в зале стоял шум от ударов рамками по столу.

Одна из женщин накладывала стальной лопаточкой белый свиной жир на стекло. Чтоб увеличить поверхность соприкосновения жира с цветком, она проводила по массе деревянной вилкой о пяти зубьях.

Когда-то работники проводили эти борозды собственными ногтями. Деревянный инструмент пришел на смену их растопыренным пальцам, долгое время казавшимся незаменимыми.

— Какой запах должны были они сообщать салу! — сказал Борсетти. — Чистота — это первое условие вся-

кого производства, применяющего легко впитывающие запах жиры. Многие маслобойные заводы обязаны дурным вкусом своих продуктов и их способности быстро горкнуть нечистоплотности своих рабочих.

Работницы, захватывая чистые лепестки из груды, куда они осыпались после взвешивания, раскладывали их на сале. Цветок должен был целиком погрузиться в жир. Его не должно было быть видно, и ни один из них не мог покрывать другой.

Колонны рамок, нагруженные цветами, образовывали по середине зала целое сооружение из светлого дерева. Жасмин и сало оставались двадцать четыре часа в этой пирамиде, откуда специальный рабочий снимал верхние рамки, влезая на табурет.

Работницы принимали рамки, чтоб извлечь положенные на них накануне цветы. Женщины сидели группами по четыре человека; первая из них, поставив рамку стоймя, несколько раз сильно ударяла ею о стол. Следующая снимала с жира наиболее крупные из приставших цветов, третья продолжала эту очистку и, наконец, четвертая изошрялась над последними кусочками. Это было самой приятной работой, которая, однако, не могла продолжаться дольше часу, так как четыре женщины чередовались, распределяя между собой и трудную и легкую работу.

Большинство женщин работало одной рукой, держа в левой рамку, а правой снимая приставшие к салу лепестки. Гораздо меньше было таких, которые работали над лепестками стоя и прибегали к помощи своих десяти пальцев.

Особенной быстроты в работе от них не требовалось, но они должны были устроиться так, чтоб справиться в продолжение дня со всеми доставленными из садов цветами. Эта однообразная работа в чистом зале, над деревянными и стеклянными приспособлениями,

на которые жир накладывался тонкими слоями, была гораздо приятнее, нежели огонь и брызги в залах горячего экстрагирования. Работа производилась сидя, и утомительными были лишь обязанности первой работницы в группе, которая должна была всякий раз делать напряжение, поднимаясь, чтоб достать верхнюю рамку с поставленной перед ней колонны. Рабочий приносил их на стол по десять штук зараз. Женщина приподнималась, чтоб достать верхнюю; по мере того, как количество рамок уменьшалось, движение ее руки, похожее на призывный жест, сокращалось. Она переставала приподниматься только тогда, когда колонна опускалась до уровня ее головы.

Управляющий заводом Гига, Кирилл Ривара, любивший облегчать работу рабочим, хотел было с помощью расчетов установить такое расположение рамок, которое дало бы возможность первой в группе доставать рамку без такого напряжения.

Рабочие, подававшие рамки, приносили сразу как можно больше рамок, не желая делать лишнего шага и заставляя, таким образом, работницу напрягать руки и бедра тем больше, чем меньше ходов совершали мужчины.

Достаточно было бы подвести под весь этот груз четыре рессоры, и стало бы возможным поднимать и повышать колонну по желанию. Чем она была бы тяжелее, тем больше поддавалась бы вниз опорная рессора, удерживая верхнюю рамку на уровне руки работницы, причем по мере того, как колонна становилась бы легче, каждая следующая рамка, благодаря рессоре, оставалась бы всегда на одной и той же высоте. Достаточно было бы металлической пластинки и железной проволоки, чтоб избавить женщин от необходимости напрягаться.

На новом заводе применялись еще совсем старые спо-

собы работы. Бод стремился устранить их путем механизации или пневматизации процесса экстракции, для того, чтоб, уменьшив численность рабочих, понизить себестоимость продукта для Массьера, а никак не для того, чтоб облегчить дело рабочим, которых он заставил бы лазить на лестницы и доставать рамки с потолка, еслиб это могло послужить к выгоде фирмы.

Женщины по-двое носили в отделение углеводов корзинки с двумя ручками, наполненные снятыми с сала цветами, которые казались коричневыми, рядом с белыми, доставленными утром.

Бод и Борсетти начали свою совместную работу исследованием количества ароматических частиц, остающихся в жасмине после мацерации его в сале. Бод установил, что цветок теряет при этой операции в весе, каковое обстоятельство наводило на мысль о весоности аромата и заставляло думать, что лепестки, сохраняя все свое вещество, за исключением ароматических частиц, становятся легче.

Бод полагал, что уменьшение веса происходит только благодаря испарению заключающейся в цветке воды.

Они проверили вместе вес, записанный в зале углеводов, причем рабочие доложили им о наличии четырехсот кило цветов вместо пятисот, разложенных накануне на рамках.

— Совершенно неправильно, — сказал Бод, — округлять вес при приемке. Отныне приемщик будет записывать, рядом с оплаченным весом, действительный вес. Учтем также воду, содержащуюся в цветах вследствие поливки. И все-таки невозможно, чтоб в ста кило жасмина ее заключалось двадцать литров! Нам пришлось бы тогда работать в болоте!.. Может быть, воруят приемщики, показывая цветов больше, нежели принимают на самом деле?

Во дворе исследователи встретили женщин, которые, распевая, несли корзины. Радясь минутному освобождению от нудной работы и заводской дисциплины, они смеялись, бегая на солнце и размахивая своей увядшей ношей. При виде инженера и химика, они утратили радостное выражение, стали серьезны и пошли медленно.

Бод указал пальцем на землю. У них под ногами было то, чего они доискивались. Работницы, не придавая никакого значения использованным цветам, туго набивали ими корзины, чтоб носить приходилось реже, благодаря чему верхние цветы вываливались при ходьбе; они не обращали на это внимания, так как ценили только свежие, которые надо было раскладывать на сале.

Приплясывая, они усыпали свой путь цветами. Они напевали фарандолу «*Lou savagnon oï bras: с корзинками в руках...*», на каждом шагу теряя увядший жасмин. Радость девушек противоречила ученому педантизму Бода, который прервал их пенье, спросив, неужели же им доставляет такое удовольствие разбрасывать товар? Он упрекал их в том, что они заняты только одной любовью. Выражение лиц работниц, ставшее внезапно недовольным, указывало на то, что хотя они и выслушали его урок, но он несколько не убедил их в том, что надо дорожить этими цветами, которые они раньше, до введения в производстве нефтяного эфира, выбрасывали после употребления в канаву.

Внезапно Бод перестал журить виновных, так как перед ним выросло нечто гораздо более значительное и ужасное, нежели ущерб фирмы: красота женщины. Посреди двора, обсаженного ирисом, улыбка Денизы сверкала ослепительным светом.

Бод забыл свои заботы о выгодах завода и мог только созерцать это лицо. Он отступил назад, словно в испуге. Массьерра сопровождал посетительницу, у кото-

рой появился каприз: коллекционирование драгоценных эссенций.

Белая грудка жасмина в зале жиров окутала ее ароматом, сладость которого заставляла медленно смыкаться ее веки. В восхищении от пахучих цветов, она полными пригоршнями подносила их к лицу, стоя возле девушек, которые быстро брали их, чтоб разложить на стеклянных дощечках с жиром.

— Жасмин, — сказал Массьерра, — пахнет особенно сильно, когда он сорван. Запах его при этом становится сильнее в семь или восемь раз. Потому-то его и погружают в холодное свиное сало, которое медленно впитывает его аромат. Вы видите, сколько для этого требуется работниц. Подобный способ нынче стоит дорого. Потому-то мы опускаем значительное количество жасмина непосредственно в нефтяной эфир, который сразу извлекает из него весь аромат, вместо того, чтоб перерабатывать таким образом уже употребленные цветы; этот прием позволяет переработать четыре тысячи кило цветов в день при посредстве четырех рабочих.

Дениза подвигалась, счастливая в вихре аромата, усиленного тяжелым зноем надвигающейся грозы.

Бод завидовал химику Борсетти, спокойно рассказывавшему ей о живучести аромата; красоту Денизы он отнюдь не считал значительней химии. Величайшей для него радостью было — прежде всего добросовестно выполнять свое дело.

Слова застревали в горле Бода, которому оставалось только смотреть в безнадежном восхищении на красавицу.

Завод, убивавший цветы, жил своей жизнью вокруг пленительной женщины, тешившейся их ароматом.

— Вы мне дайте, — сказала она, — в мои хрустальные флакончики, понемножку от всех ваших драгоцен-

ных эссенций: розовой, померанцевой, жасминной, фиалковой, акациевой, туберозы. Мне хочется иметь совсем особенные духи!

Борсетти отвечал:

— Сударыня, я был бы готов обмануть вас, чтоб только доставить вам удовольствие, но эссенция в чистом виде обладает зачастую тошнотворным запахом. Вот вам розовая эссенция. Просто воск и пахнет отвратительно. Чтoб сделать ее приятной, необходимо растворить мельчайшую частицу в спирте.

Желая доказать ей, насколько дурно пахнут эссенции, он поднес к ее носу фиалку, затем абиссинский рог с цвететтой. Сильный запах драгоценного экскремента ошеломил женщину. Она не могла победить отвращения, побледнела и должна была сесть. Внезапно, яростный дождь забарабанил над нею в громадное стекло.

Борсетти торжествовал от результатов своего опыта.

— Цвететта в большом количестве отвратительна, но в малых дозах — великолепно. Без нее вы никогда не создадите хороших духов.

Бод, пораженный молниеносной любовью, оставался нем и недвижим, словно в каком-то кошмаре, не будучи в силах выполнить то, что ему так страстно хотелось: показать Денизе восхитительнейшую на заводе вещь — девственную жасминную помаду в толевых приемниках, великолепную серую амбру.

Борсетти продолжал распространяться в ученых терминах о необходимости запаха экскрементов в дорогих духах:

— Скатошь необходим для придания высокого качества нашим продуктам. Он является базой для всех остальных ароматов и препятствует слишком быстрому их выдыханию. Для дешевых духов употребляется синтетический скатошь.

Дениза отказалась его понюхать.

В руках Массьера рог с цвететтой, удаленной на некоторое расстояние, разливал нежный ронат, разжиженный воздухом.

— Мы, химики, — промолвил Борсетти, — по отношению к духам находимся в том же положении, в каком физика — по отношению к электричеству: нам приходится иметь дело с силой, сущность которой для нас продолжает оставаться неизвестною.

Грохот взрыва, раздавшийся где-то позади завода, заставил рабочих выскочить на мокрый двор, куда посыпались всякие обломки.

Борсетти воскликнул: «Моя лаборатория!» и побегал прочь, сделавшись неожиданно смешным, так как ему были более свойственны размеренные движения медлительных людей.

Женщины, побросав работу, кричали: «Soüten! Мы все взлетим тут!»

Массьера, уже побывавший на месте взрыва, строго отсылал их к их работе и успокаивал посетителей:

— Вследствие грозы лопнула труба над ящиком с натрием. Двадцать три грамма его, в соединении с водой, дают сорок грамм едкого натра и литр с четвертью водорода. Никакой опасности нет. Другие вещества...

Он замолчал в смущении, не зная, как объяснить присутствие на заводе материалов, не нужных при добросовестной фабрикации цветочных эссенций.

По свистку, извещающему об окончании работ и раздававшемуся на этот раз несколько раньше, для того, чтоб освободить взволнованных рабочих, вышли женщины; многие из них держались за руки. Они пошли вниз по крутой улице, на которой каблучки их стучали о каменную мостовую. Их встречали старые лачуги Грасса, гостеприимно предлагая утомленным зловонную прохладу застарелой тени.

Поль и Дениза медленно направились к цветущим окрестностям.

— Будем всегда боготворить этот городок, ставший для нас раем. Через несколько дней мы расстанемся с ним. Мы поедем через Альпы, чтоб повидать лес над Кастеллано.

Запах жасмина подымался из садов, где начинался гущаться сумрак. Вырвавшись из омерзительного завода, Дениза восхищалась чарами молодой ночи, среди которой благоухание раскрывало свои необъятные крылья. Воздух был сладок, тени прозрачны. Захваченная невыразимым могуществом земли и неба, Дениза шептала в экстазе словно под поцелуем любимого. Участница восхитительной тайны, она чувствовала вокруг себя присутствие чего-то любовного и ужасного, о чем безмолвно говорили цветы и звезды. Для нее настала минута, когда она предпочитала молитву ласке. Она соединила в своих руках руки мужчины, повелевавшего ей взглядом, и ей показалось, что она погружается в бездну, увлекаемая дыханием самого бога. В полумраке ей чудилась улыбка. Ночное благоухание заливало блаженные сады. По мере того, как солнце опускалось за холмы, над городом простиралось особенно нежное благоволение. Звезда земная, жасмин, раскрывалась только в сумерках. Густой запах белого цветка, более мощный, нежели запах майской розы, доходил до деревьев Эстереля. Чары светлого сумрака становились все более захватывающими, благодаря дыханию цветов. Сосредоточенные и строгие днем, они резвились ночью. Если запах стал светом, сады покрылись бы огненным покровом. Ночь ласково прильнула к устам молитвенно-настроенной женщины, восхищенной непостижимой тайной аромата.

Первый грузовик с лавандой принес с собою в Грасс альпийские ароматы. Перегонка диких растений происходила преимущественно в горах. Быстрота автомобильного сообщения позволяла перерабатывать часть сбора в Грассе. Три тысячи кило были доставлены из Эскраньоля, где Массьера снимал общинные земли, чтоб собирать лаванду, анис, тимьян, богородичную траву. За право собирать цветы в 1914 году самоуправление взимало от пятнадцати до сорока франков с холма и от трехсот до четырехсот франков за всю землю; плата эта в 1920 году возросла в десять раз. Благодаря оборотам парфюмеров, цены на всякие душистые растения, годные для эссенций, сильно поднялись. Собирали такие, которые никогда еще не перегонялись и названия которых были неизвестны крестьянам, — всякую горную траву, все, что только было пахучего на холмах. Снизу, по дорогам между городом и морем, поднимался в Грасс груз жасмина; сверху, по альпийской дороге Сен-Валье, доставлялись цветы с гор. Белый урожай садов и синий урожай гор — наполняли город ароматом. От Альп до Средиземного моря навстречу друг другу устремлялись две благоуханные волны, направляясь к жирам, нефтяному бензину и кубам.

От каждой ноши на голове крестьянина, от каждой кладки на тележке, исходило драгоценное дыхание цветов. Корзинки, мешки, платки были пропитаны им.

Носильщики, возвращавшиеся с пустыми руками, и телеги с опорожненными и вложенными одна на другую корзинками наполняли улицы ароматом.

Жорж Бод ежемесячно проводил одну неделю в горах, где находились кубы для лаванды фирмы Массьера. Он рассчитывал уехать, наладив дело с жасмином, но ему пришлось столкнуться с фактом, вызвавшим в нем ряд недоумений, которыми он поделился с Борсетти:

— Мы установили, что из пятисот кило цветов, предназначенных для мацерации в сале, в отделение эфира поступило на следующий день всего только четыреста. Но мы убедились в том, что некоторое количество материала терялось во время переноски. Теперь, когда работницы не пляшут уже больше с корзинками, пятьсот кило, использованные на жирах, обратились в шестьсот при экстракции путем бензина!

Борсетти потряс головой и должен был поправить пенсне на носу:

— У-ди-ви-тель-но!

Он становился насмешлив, только когда подозревал обман. В таких случаях недоверчивость его выражалась тем, что он пристально смотрел в тщательно протертые стекла и произносил измененным голосом неожиданные вещи:

— Можно ли предполагать, что цветы впитывают в себя двадцать процентов жира? Мои поиски привели меня к данным, не имеющим никакого отношения к вопросу. Занимаясь исследованием процесса пропитывания, я наткнулся за одной из колонн на рабочего с работницей в такой позе, для описания которой на французском языке нет подходящих слов. Визит этой прекрасной дамы взволновал персонал.

— Цветок обладает возбуждающим свойством, — печально заметил Бод. — В сезон роз я видел, как

одна из девушек повалилась на стол, задрала юбки до самого лица, расставила ноги и кричала: «Кто меня хочет?»

Он снова подсчитал жасмин.

— В продолжение недели у нас получалось то меньше, то больше на двадцать процентов. Кто-то издается над нами!

Инженер направился к весам в помещение углеводородов и подошел к ним так быстро, что приемщик не имел времени снять корзину, вес которой он только что занес в книгу: семнадцать кило, тогда как весы показывали только пятнадцать. Носильщицы потупили взоры. Инженер обрушился на обманщика:

— Зачем вы изменяете цифры?

— *Es pér vous fa plasi.* Чтоб доставить вам удовольствие. Прошлый раз вы нашли, что цветов мало. Я и прибавил немножко. Девчонки эти растеряют цветы по дороге. А так все будет полным.

— Всякое ремесло прежде всего — обман! — сказал Борсетти. — Крестьянин обманывает, поставляя мокрые цветы. Мы составляем розовую эссенцию посредством родинла, гвоздичную — посредством изойегинола. Все, начиная от садовника и кончая мальчиком, наклеивающим этикетки, все причастны к обману.

Он удалился в свою лабораторию, где заканчивалось испытание нового аппарата для ирисового масла.

Мариус Сенекка, помощник химика, в белой блузе, перекладывал часть продукта, полученного в новом аппарате, в старый.

Застигнутый на месте преступления, с полной еще лопаточкой в руке и перед поставленными рядом аппаратами, он навлек на себя неистовый гнев Борсетти, от которого никак нельзя было ожидать, чтоб он мог с таким ожесточением говорить со своим сотрудником; едва удалось тому дать, наконец, следующие объяснения:

— Не кричите так! Вы рассчитывали, что новый аппарат даст на сорок процентов больше, нежели старый. Для меня не изменится ничего, так как мне платят помесечно. . .

Борсетти, покачивавший головой и поправлявший пенсне, принял внезапно такой вид, словно получил заслуженный выговор.

— Вы отлично можете понять, что в том случае, если новый аппарат будет принят, рабочих, занимающихся ирисовым маслом, потребуется на сорок процентов меньше. В настоящее время работают две смены, день и ночь. С применением нового аппарата потребуется только одна. Так вот, они явились ко мне и сказали: «Мариус. . .»

Гибкий голос Сенекки мог приобретать, в зависимости от волновавших его чувств, головной, горловой или носовой оттенок. Он перестал горестно гнусить и перешел на дружескую воркотню:

— Так вот, когда к вам приходят и говорят: «Мариус. . .», я кладу немножко масла из нового аппарата в старый. Благодаря этому аппарат не будет переменен. Обе смены сохранят свою работу. Я доставлю радость людям. Нельзя же думать только о себе!

Борсетти, покачивая головой, мог противопоставить всемогуществу лжи только молчаливую иронию.

Он размышлял о том, что человек является несравненно большим препятствием для совершенства работы, нежели материал. Химик ненавидел ложь. Ему были известны характерные свойства Сенекки: склонность к плутовству, добродушие, самоуверенность, и он думал: «Установив состав вещества, я могу положиться на результаты опыта. Но можно ли когда-нибудь положиться на людей?»

Оа наполнил снова оба сосуда, чтоб проделать опыт собственноручно. Сеннека скрестил на груди

руки в белых полотняных нарукавниках и сказал гордо:

— Вы не доверяете мне? Вы заставите меня потерять место только потому, что я хотел спасти других. Вы считаете это справедливым. Я — честный человек!

— Надо иметь и честный ум. Наука, не основанная на точности, является бессмыслицей. Я не требую от вас понимания, а только правдивости. Какова бы ни была правда и какие бы последствия она ни влекла за собой — всегда поступайте и говорите правильно. Я ни о чем больше не прошу.

— Вы полагаете, что это безделица?

— Это все. Не надо возводить этого в страсть. Будьте правдивы без всякой гордости и раздражения. Правда должна быть для вас спокойным дыханием ума.

Сенекка поднял руки, выпрямился всем телом и заявил:

— В сущности, я именно таков. Мы созданы, чтоб понимать друг друга. Я откровенно скажу вам, сколько я переложил из одного приемника в другой: три лопаточки. Я кладу их с верхом обратно, и если окажется, что там немного больше, так это только еще лучше докажет, что вы правы и что новый аппарат совершеннее старого. Я готов доставить вам это удовольствие.

«— Я хорошо знаю фирму. От каждого вновь прибывающего химика прежде всего требовалось, чтоб он умел фальсифицировать. Вашему предшественнику совсем не удавалась лаванда. Шиммель напечатал в Лейпциге, что мы продаем эссенцию, содержащую двадцать процентов эфира. В те времена, когда искусственную фиалку умели выделять одним только способом, на который патент был взят другими, все здешние парфюмеры добивались, чтобы их химики изобрели другой. В столовой, где обедали все эти господа из двадцати девяти лабораторий, было запрещено говорить о химии,

чтобы не выдавать секретов фирм; но запаха нельзя было скрыть, и по запаху, исходившему от новичков, всегда знали, что они работают над иодом. К ним привыкли и говорили: «Пока что — фиалка ему не удалась!»

— Я сам видел, как ваш предшественник возвращался сюда, потирая руки, так как вся столовая пахла неудовлетворительно.

— Но самым большим плутом, которого я только знал, был один старик, занимавшийся лавандой в Италии и Провансе. Он надувал всех парфюмеров. Он никогда не возражал и всегда брал назад эссенцию, если ее находили неудачной. Парфюмеры покупали ее где-нибудь в другом месте, но это всегда бывала та же самая: он только что-нибудь подмешивал туда. Он по пяти и по шести раз перепродавал один и тот же товар с различным гарантированным составом! Хитрец! Таким и следует быть, если не хочешь прослыть дураком!

— Пока патент Шиммеля на мускус не получил еще распространения, у Гига была монополия для Франции. Но некоторые ловкачи умудрялись покупать продукт в Швейцарии по сорок франков и перепродавать его здесь по четыреста. Гиг заставлял полицию следить за этим. В Грассе выделялись такие вещи, которые удивили бы блюстителей общественного порядка!

— Доверяете ли вы мне теперь? Что касается меня — я вам верю. И я докажу это вам. Каким путем придать крепость эссенции герани? Один из моих двоюродных братьев выделяет ее в большом количестве в Плане.

— Я дал ему гераниевого масла. Но он прибавил его слишком много. Фирма «Рур-Бертран-Сын» вернула ему флакон, заявив: «В грасской герани никогда не содержалось такое количество алкоголя».

— Что бы сделали вы на его месте, столь ученый химик?»

Борсетти ответил:

— Присутствие химического вещества, прибавленного к натуральному продукту в холодном виде, легко можно установить путем анализа. Если же его прибавлять понемногу во время перегонки — из этого можно извлечь пользу, в особенности, если контрольные аппараты не вполне совершенны.

— Именно то же говорил и мой двоюродный брат. Он положил гераниевое масло в перегонный куб. Фирма «Рур-Бертран-Сын» опять сбавила ему цену. Тогда он сказал: «Запломбируйте куб, и вы увидите, что я вас не обманываю!» Прислали доверенное лицо, которое должно было наблюдать за перегонкой и пломбировать куб после каждого кипячения. Но я научил двоюродного брата, как их перехитрить. Он положил в пучки герани крошечные пробирки с гераниевым маслом, закупоренные совсем слабо, так что во время перегонки пробочки от высокой температуры повыскакали. Аппарат был запломбирован. Фирма «Рур-Бертран-Сын» признала, что эссенция чистая. И однако, она была на двадцать пять процентов искусственной, как раз настолько, сколько моему двоюродному брату требовалось, чтоб вознаградить себя за потерю удержанных с него денег! Еще существует правда на свете!

— Но это — между нами, не правда ли? Беру с вас слово!

Борсетти, опечаленный силой лжи, выйдя после завтрака, хотел было сообщить Боду о своих открытиях относительно людской фальшивости. Передавая вещи правдиво, он не считал бесчестным изменить доверию своего сотрудника. Честность с его точки зрения заключалась в безотносительной точности. Но инженер заговорил первым:

— Все способы производства ириса подложны. У меня пропала банка, содержащая по меньшей мере пятьсот граммов масла, которое я берегал вот уже две недели; я думал, что его кто-нибудь украл.

— И вот, наконец, я понял. Запасом этим, полученным при удачной перегонке, старший в смене рабочий сдобривал слабые отгоны, чтоб выравнять таким образом результаты каждодневной работы. Он сказал мне: «Так-то оно спокойнее!»

Мимо обоих мужчин, мучимых общей лживостью, проходила группа женщин, занимающихся настаиванием жира, платья которых издавали упорный запах жасмина.

В кривых улицах раздавались шаги рабочих, спускавшихся к заводу Массьера, и стучали каблуки тех, которые поднимались к заводу Гига. Потные, измученные крутыми улицами женщины взбирались в гору под жгучими лучами солнца.

У Старых Ворот — древнего укрепления — продавщица сардинок выкрикивала свой товар. Звяканье трех цепочек, поддерживающих чашку ее безмена, сопровождало мощные звуки ее голоса. Томаты и дыни красными и золотыми пятнами выделялись на рыночной площади. Торопящиеся работницы находили здесь фрукты и овощи, уже нарезанными для их трапезы. Они выбирали канталупки по двенадцать су и крепкие томаты, ложившиеся под ножом плотными ломтиками.

Пьер Феррари пил вермут с Опюстом Андреисом. Они поздоровались с женщинами, несшими припасы.

— Сюда съезжаются, — говорил гарибальдиец, — все богачи мира: Ротшильды и Дарже. Они приобретают себе целые холмы только для того, чтоб играть там в теннис или бездельничать в бамбуковых креслах. Мы же не имеем клочка земли, чтоб засеять его перцем. Благосостояние лентяев, каждый сезон меняющих страну, ложится тяжким бременем на работающий люд

Они развращают такие города, как Ниццу, которая зимой населена сверх меры и пустует летом. Проституция и все живущие подачками, следуют за ними. Им абсолютно нечего делать, и они занимаются только собой. Богатство этих переселенцев нависло над нами, как скала над муравейником. Под нею работаем мы для промышленников, которые тоже выстраивают свои дома на тяготеющим над нами камне. Дачники лишают нас солнца, заводчики — права на справедливость. Мы, в грасских конурах — рабы старого капитала, благодаря чему дети рабочих умирают по капризу какой-нибудь богачки. Тень Алисы Ротшильд простерлась над нашими конурами; а ведь султанша Гарун-аль-Ротшильд самая обездоленная из всей их семьи; у нее должно быть только миллионов десять дохода, когда у ее родственников их по тридцати. Гиг держит нас в тисках нашим заработком. Хорошо было здесь жить, когда не было заводов, которые превращают вас в скотину только для того, чтоб женщины обливали духами свое тело. Чем больше становится распутниц на свете, тем больше должны мы работать!

— Мне хотелось бы заниматься чем-нибудь полезным: быть сторожем на маяке. Администрация обращается там с вами справедливо; чем больше служишь, тем больше платят. Полная противоположность заводам, где стариков берут неохотно и платят им меньше, чем молодым.

— Грасский округ должен был бы подать миру пример, начав восстание, так как нигде не встречается таких крупных богачей рядом с такими нищими бедняками. Мы лишены своего права на солнце. Я отправлюсь собирать лаванду! Это успокоит мою жажду убийства!

Он пошел попрощаться с Плешивым — пробочным мастером, скрюченным ревматизмом, но, тем не менее,

прилежно занимавшимся работой, на что указывало множество валявшихся вокруг него обрезков пробки. Тело его, прикрытое кое-как одеждой, тяжело навалилось на скамейку, но руки ловко действовали блестящим резак-ом, который он правил на оселке.

— Хорошо вам работать у себя дома, — сказал Андреис, — на свободе, вы сами себе хозяин: мочись, когда хочешь! Большое счастье — заниматься ремеслом, которое не доставляет неприятностей!

Но Плешивый стал жаловаться:

— Я покупаю лучшую пробку, по двести пятьдесят франков за сто кило, и продаю остатки, которых у меня получается слишком много, — парфюмеры так требовательны! — по пятнадцать франков. Я предпочитаю работать для виноторговцев, получая по сто франков за сто кило пробки. Но зато приходится пить, когда относишь работу. Это вредно при ревматизме. Руки слабеют. Я становлюсь не в состоянии работать быстро, а заказчики ждут. Там, в горах, вы будете пить воду. Я вам завидую!

Выгодное занятие — собиранье диких цветов — привлекало в горы всех, кто любил менять ремесло.

Писцы из конторы нотариуса, которым надоело собирать жасмин у Масса, спрашивали один другого: «Mountén? Пойдем?»

Крестьянин предсказывал им всяческие затруднения в горах:

— Это не то, что здесь, где вы можете работать босиком и быстро. Все цветы под рукой. А за лавандой вам придется делать по двадцать километров в день, на солнце. На скалах вы за один месяц изорвете башмаки. Воду для питья нужно таскать с собой. Иначе можно проходить целый день и не встретить источника.

Кроме борьбы из-за рабочих рук между садом и заводом, возникла борьба между горою и долиной. Массьерра усилил свой транспорт, что удалось сделать путем использования тележек, и только благодаря этому обстоятельству можно было доставлять на завод ежедневный сбор: садовый жасмин и лаванду с холмов. Джуста Кланкарини, управлявший трехтонным грузовиком фирмы Гига, получил на пятьдесят франков больше на проездные расходы на службе у фирмы Массьерра, куда его сманили шоффером подобного же грузовика, приводившегося в движение нефтяными остатками, еще

пахнувшими жасмином и розой. Увозя с собой 8 августа инженера Бода, он быстро поднялся над Грассом.

Внизу виднелись крыши старого города, покрытые бледной черепицей кустарного обжига. Вдалеке росло светлое пятно моря. По голубой его скатерти лучи скользили улыбкой, подернутые дымкой пара.

Дорога завернула, углубляясь между холмами. Цветущая местность исчезла из виду.

Крестьянка остановила мощную машину, таким же жестом, каким останавливала раньше дилижансы, прося передать башмаки некоему Галлу: крестьянину в Нансской долине. Автомобили вытеснили на горных дорогах телеги и мулов. Шофферы охотно оказывали услуги крестьянам, которые угощали их за это молодым вином в прохладе.

В Сен-Валье, на площади, драгоценная вода медленно текла по одному из трех жолобов источника. Приезжие, проводящие здесь лето, прогуливались возле крестьян, поджидая очереди, чтоб наполнить свои кувшины. Люди из Марселя, Ниццы и Тулона, торговцы, рантье, чиновники — каждое лето украшали Альпы своими костюмами туристов, в которые они облачались, идя к обедне или в час вермута.

В дороге инженер и шоффер отказывались от условностей заводской дисциплины. В качестве товарищей по путешествию, они забывали о разнице своего положения на заводе. Бод сманил Кланкарини в Бордигере, возле завода, который Гиг выстроил для розы и гвоздики, в чайнии, что все итальянские цветы будут поступать к нему. Бод, считавший всякое лукавство допустимым, если оно могло быть полезно фирме Массьера, предложил бордигерским перевозчикам такой заманчивый тариф за доставку в Грасс, что фирма Гиг ошиблась в расчетах, полагая, что завод завоюет все цветы в местности, доступной грузовикам соперников. Джуста

Кланкарини, пройдя хорошую школу, умел забирать у своих друзей, итальянских крестьян, мешки с розой и гвоздикой. Спускаясь в Нанскую долину, он вспомнил об этих набегах. Грузовик, управляемый ловкими руками шоффера, с головокружительной быстротой шумно мчался по дороге, проложенной между скалой и обрывом. Кланкарини остановил его, чтоб передать башмаки Галлу, занятому перегонкой лаванды. На гумне, перед домом, увитым виноградом, прямо на солнце, он разводил яркий огонь, чтоб вскипятить в медном кубе, с плотно пригнанным и замазанным цементом шлемом, шестьдесят кило растений. Нелегкая эта работа производилась всегда около мест, где была вода; дым, поднимавшийся над перегонным кубом, указывал на близость источника. Вода медленно текла здесь по каменному жолобу, торчавшему из голой скалы. Внизу, под этим суровым гранитом, приютились три дерева, питаемые свежестью источника.

Крестьянин совсем не стремился перенести свою работу под их сладостную тень. Солнце способствовало быстрейшему закипанию котлов с изогнутым в виде лебединой шеи горлом, утвержденных над огнем на железных треножниках.

Оборотив затылок к солнцу, а лицо к огню, перегонщик лаванды выполнял свою жаркую работу, освежаясь иногда на закраине бассейна.

Таково было старое ремесло отцов Гига и Массьера, которые, захватив куб в тележку, отправлялись из Грасса в горы. Каждый из них старался попасть первым на голубые от цветов холмы и вернуться домой, нагруженным большим числом металлических сосудов с эссенцией.

Потомки прежних кочующих перегонщиков, погонявших мулов в горах, встречались теперь на всех путях мира, как некогда предки их на альпийских дорогах.

Соперничество, начавшееся с лаванды, продолжалось в области использования сирийских и болгарских роз. Повсеместно, где только произрастали годные для эссенции растения, влиятельные грассовцы выставляли могущество своих капиталов и соперничали своими товарами.

С драгоценного холма, возвышавшегося над деревенским перегонным кубом, спускался итальянец-сборщик, неся за спиной цветочную ношу в веревочной сетке. На нем была рубашка, полотняные панталоны и жилет, обут он был в башмаки, стучавшие по скале гвоздями. Он сбросил свою ношу на месте, ярко освещенном солнцем.

Взвесить ее явился хозяин, владелец маленькой горной фермы; за плечами у него было ружье, чтоб стрелять дроздов. Меранда — так звали этого фермера — продавал продукт своей перегонки фирме Массьера и опасался бдительности Бода, преподавшего ему добрый совет:

— Бросьте вы старый аппарат, изобретенный современниками Иисуса Христа. Вы оставляете в цветке столько же эссенции, сколько из него извлекаете.

Меранда взвесил принесенное сборщиком — тридцать шесть кило — и предложил ему и гостям выпить, так как был человеком приветливым. От груды свежей лаванды поднимался могучий аромат. Сборщик, с сеткой за плечом и с серпом в руке, сказал:

— Теперь приходится делать по шесть километров, чтоб что-нибудь набрать. Нас здесь обворовывают. Растение губят, срезая его слишком низко. Это отразится на будущем сборе.

Тяжелые шаги сборщика застучали по нагретому холму, где на зеленых пучках оставались редкие лепестки цвета лазури.

Меранда был доволен этим старательным работником: пьемонтцы — европейские негры.

Человек, сидевший у куба, опрокинул его и вытащил из него кривой вилкой вываренные цветы, черная и дымящаяся куча которых издавала приторный запах рядом с остро пахнущей грудой свежей голубой лаванды.

Меранда сказал, что в продолжение одного дня он может перегнать шесть котлов лаванды по пятьдесят — шестьдесят — кило.

— Всего от трехсот до трехсот пятидесяти кило лаванды, причем я не всегда уверен, что получу ее. Стоит слишком сильная жара. Все цветет одновременно. Детей, чтоб собирать ее, теперь не найти. Они предпочитают собирать жасмин. Оно менее утомительно.

Он попытался узнать последние цены на эссенцию:

— Ширис покупает цветы по полтора франков за сто кило, с доставкой в Грасс. От ста тридцати до полутора кило лаванды дают одно кило эссенции, которая, таким образом, стоит двести пятьдесят франков.

— Аппараты фирмы Ширис, — сказал Бод, — извлекают из полутора кило цветов больше одного кило продукта. . . Есть ли дичь в этом году?

— Когда охотятся внизу, я убиваю куропатку на высоте тысячи метров. Птица, спасаясь, всегда летит вверх, и я подстерегаю ее здесь. Охотники внизу работают на меня. Дичь хитра. На скалах есть нечего. Она знает, что в полдень в полях никого не бывает; тогда она спускается. В полдень я ничего не могу подстрелить на этой высоте. В этом году попадались дрозды и зяблики. Вертел у меня работает три раза в неделю.

Будучи способен просидеть всю ночь, подстерегая соловья, он отлично изучил нравы животных, чтоб убивать их. Он указал на тутовое дерево:

— Все птицы лакомятся тут. . . Это хорошая западня. Я убил здесь на ветках, по крайней мере, дюжину дроздов. Только мы здесь бедствуем из-за коршунов и орлов. Они совсем истребляют дичь!

Жар костра на ярком солнце обдавал лица мужчин, сидевших в тени. По ту сторону Нанской долины, крутой дорогой из Грасса, приближался автомобиль; гудок его раздался у подножия холма.

Шоффер, желая запастись водой для охлаждения радиатора, поднимался по тропинке, ведущей к ферме.

Бод с ужасом увидел идущую Денизу; она радовалась случаю, пославшему ей на пути гения аромата, заключенного в древнем кубе.

Поль де Бракэ-Саатр заговорил с безнадежно влюбленным инженером:

— Мы направляемся через Альпы в Лион... А вы наблюдаете за перегонкой в горах?

Бод дал ему странное объяснение:

— Здесь все обстоит так же, как во времена глубокой древности, когда человек изобрел это занятие. Я видал болгарских крестьян, перегоняющих розу в таких же грубых кубах, как и этот. От малоазийских полей до французских Альп я вываривал цветы, чтобы надушить женщину. Это одно из самых печальных занятий, какое только может выпасть на долю мужчины.

— Какое кощунство!

Довольный тем, что рассердил ее и хоть сколько-нибудь, тронул той бесконечной грустью, которую она в нем вызвала, он стал оскорблять божество, которому поклонялся.

— Мы тратим свои способности на создание иллюзии. Что остается от аромата, над которым мы так трудились? Архитектор, писатель — создают прочное. Мы же возводим ложь на ложь. Взорвавшийся натрий, посредством которого мы фальсифицируем розу, обнаружил вам наш обман. Величайшее достижение нашей науки — создание цветочного запаха без помощи цветов. В мгновенном аромате мы запечатлеваем древнюю

человеческую ложь. Самая перегонка нас обманывает. Эссенция лаванды пахнет не так хорошо, как свежая лаванда. Натуральный продукт стал уже развращением. Жидкость, полученная от перегонки, не передает запаха растения. Существует большая разница между запахом розы и запахом розовой эссенции, между запахом помаранцевых цветов и неролевым маслом. Натуральная эссенция фиалки пахнет дегтем, фиалкового дерева — щавелем. Некоторое подобие настоящего аромата достигается только путем смесей, которые развивают то, что заглушили перегонка, кипячение и эфир. Химия играет эту роль возбудителя.

— Было бы ложью утверждать, что данный аромат является натуральным, потому что он извлечен из растений. Каким способом? жирами, паром, бензином. Наименее насильствующий лепестки способ — это холодная мацерация, но она придает запаху цветка запах сала. Мы не знем роли запаха в природе, где ничто не бывает нецелесообразно. Для чего он растению? Это для нас загадка. Мы домогаемся его, не понимая. Он принадлежит к явлениям, еще непостижимым для нашего ума. При посредстве продукта, полученного из угля, мы подражаем ему настолько тонко, что сами затрудняемся отличить искусственное от натурального. Мы изобрели ложь раньше, чем узнали правду. Запах розы является доказательством человеческого невежества.

— Вы не заставите меня разлюбить то, что я люблю! — сказала Дениза; — не все ли мне равно — понимаю ли я или нет сущность того, что мне нравится. Презирайте то, что вы создаете, я это обожаю! Лгите, но очаровывайте! Я счастлива, если жизнь благоуханна там, где я прохожу, как здесь. Вы занимаетесь самым прекрасным делом в мире!

— Самым ужасным. С 1914 по 1918 год я помогал смерти. Мы поставляли бензол и толуен для порохо-

вых заводов, бензойный алкоголь для целей военной авиатики. Теперь я опять вернулся к парфюмерии. Одни и те же вещества обслуживают два самых могущественнейших зла: войну и женщину. В флаконе духов заключаются составные элементы снаряда. Любовь может убивать, как взрыв.

— Только не тогда, когда в основе ее добро. И в любви бывает война и мир, жизнь и смерть.

В отчаянии от своего бессилия перед ней, от невозможности даже не понравиться ей, он снова впал в угрюмое молчание. Сила любви преисполняла его ненавистью. Он совсем не был злым, но он ревновал.

Меранда обратился к Денизе:

— Прекрасная дама, я надушу ваш платок лавандовой эссенцией, какой гравцовцам никогда не сделать, так как они работают над сухим растением. Мы же здесь кипятим лаванду только что сорванной. Понюхайте-ка это!

Он отодвинул бидоны с терпентином, который он прибавлял в отгон.

— Господин Бод рассказывает вам о том, что происходит на парфюмерных заводах. Покупателей обманывают. Им там известны всякие ухищрения. Нам же, крестьянам, только и остается быть честными.

Женщина, обожавшая цветы, выбирала лучшие стебли из груды лаванды, принесенной с холмов. Поль помогал ей; он жил только для нее, и для него было радостью облегчать ей, что только можно — касалось ли это букета или счастья. Он восхищался всем, что она любила. Лаванда пленила его потому, что Дениза была от нее в восторге.

— Вы прибавите к моей коллекции духов флакончик этой горной эссенции!

Меранда пообещал:

— Я дам вам чистейшей, как само солнце!

— Содержащую от пяти до десяти процентов терпентина! — сказал Бод. — Нигде, от гравцовских садов до верхушек Альп, где только фабрикуются духи, не бывает ни капли чистой эссенции.

Дениза посмотрела на человека, который во что бы то ни стало желал ей досадить, и прочла в его взгляде, что была для него бездной.

Меранда нахмурил брови и сгорбил, что делал всегда при виде дичи. Он принял позу человека, готового защищаться. Желтый клев дрозда клевал ягоды на тутовом дереве.

Выстрел охотника раздался, когда Поль быстро сбежал по склону. Счастливая Дениза повсюду видела чудеса среди света и скал. Пахнущий лавандой ветер ласкал ее, она восхищалась горами, покрытыми хвойными деревьями. От пламенного созерцания ее восторга у Поля делалось головокружение, которое испытываешь, когда глядишь в пропасть или в глаза любимой женщины. Тропинки, в виде зигзагов молнии, сверху донизу перерезали скалистые холмы. Опыренная цветами, ароматом, любовью, Дениза таяла под ветром и солнцем. Поль, желая доставить ей удовольствие, предложил взять ей максимальную скорость. Он устремил машину по опасной дороге. Женщина, настолько упоенная счастьем, что уже не боялась смерти, пела, радуясь опасности и поцелуям.

Далеко позади них катился грузовик, из которого Бод смотрел на следы, оставляемые на белой дороге бешеными колесами. На повороте перед Эскраньолем Джуста Кланкарини сказал ему:

— Во-время затормозили! Пять сантиметров левее — и нам пришлось бы собирать их косточки! Это было бы досадно. Такая красивая женщина. Чорт поberi, какая красавица! Çaquin dé diou, che bella fruma!

Два перегонных куба кипели на ярком солнце. Запас лаванды, предназначенной для кипячения, лежал у дороги, окаймленной продолговатой кучей черных, еще дымящихся остатков перегонки.

Грузовик катился, унося мужчину, жадно стремившегося снова увидеть облако пыли, окутывавшее восхитительный и приводящий в отчаяние образ.

Альпийский пейзаж был все тот же: холмы, серые скалистые или поросшие растительностью, нагромождения камней, нагромождения деревьев, хвоя, лаванда. Обработанные участки небольшими клочками выделялись посреди неровностей, изобилующих скалами и бедных плодородной землей. Гумна вырисовывались кружками среди сурового ландшафта. Они раскрывались, как большие золотые глаза, перед домами, мулы топтали на них рожь. Крестьянин, держа животных на поводу, шел за ними следом, с бичом в руке; шаги их оставляли белую дорожку в примятой соломе. Стоя на краю золотого круга, женщины подбрасывали вилами снопы под копыта запряженных попарно мулов. Ветер донес до мчащегося автомобиля шелуху провеянного зерна. Минувя Эскраньоль, Джуста Кланкарини зацепил длинную грудку лаванды, связанной в снопы и сложенной сборщиками фирмы Гига на краю дороги. Сбор лежал на толстой белой пеньковой ткани, почерневшей по краям от выпавших из голубых цветов зернышек. Подобное запоздание в работе удовлетворило Кланкарини, отвозившего прежде лаванду на завод Гига; он заметил, что в его времена у дороги никогда не набиралось таких больших и высоких куч.

Жилетки сборщиков висели на нижних ветках дуба, осенявшего своей тенью собранные цветы, которые всегда старались защитить от солнца, чтоб сохранить их свежими до самой перегонки. Манерки альпийских охотников, стоявшие около тыквенных бутылок, указы-

вали на то, что сборщики недавно еще находились в армии и до сих пор еще пользовались военным снаряжением. В полугоре, двенадцать сборщиков, растянувшись в ряд, тщательно обыскивали скалу, чтоб не оставить ни одного пучка. Под сверкающим острием серпа, голубая лаванда улыбалась знойному солнцу.

Путешественники миновали деревню Новый Серанон, еще не вполне заселенную и расположенную возле дороги, повыше Старого Серанона, пустующего на краю холма. Возле Ложи-дю-Нена отряд сборщиков работал на перекрестке Каstellанской и Сент-Обанской дорог, на месте, удобном для грузки лаванды. Перед дощатым баракom, где они жили, лежала настилка из вываренной травы, на которой играли дети.

Машина быстро катилась по направлению к Каstellлану. Мужчины, игравшие в шары, оживляли площадь, где в октябре происходила ярмарка лавандовой эссенции, доставляемой сюда для продажи комиссионерам и грасским парфюмерам. Бод допрашивал мужчин, присевших у фонтана, украшенного надписью:

985. Антуану де Каstellлану.
1095. Пьеру де Каstellлану.
1245. Бонифацию IV де Каstellлану.

БЛАГОДАРНЫЙ ГОРОД

Те отвечали:

— Мы думали, что это Бони с какой-то женщиной. Они уже уехали из Сент-Андре.

Джуста Кланкарини поехал дорогой, углублявшейся в горы, где начиналась тень. Солнце не играло больше на серпах сборщиков. Из-за Альп вставал зеленоватый свет. Фея вечера подносила изумрудные руки к своему звездному лицу. Многочисленные колокольчики на

козах нежно позвякивали, сотрясаясь от прыжков животных, спускавшихся к хлевам по неровным скалам.

Бод припоминал свет бейрутских ночей и черные глаза под белыми вуалями. В памяти путешественника жили два женских лица, о которых он думал: «Их я не забуду никогда!» Теперь они исчезали в сиянии другого облика; он помнил не черты его, а ослепительный блеск, и не мог бы сказать, каким было лицо Денизы. Огромный глаз раскрывался в рождающейся ночи: поднималась луна. Небольшое деревцо вырисовывалось на лунном диске; ветер покачивал ветви на этом пламенном фоне. Луна бледнела по мере того, как поднималась. Вокруг все было так же видно, как и днем. Силуэты холмов были отчетливы, словно нарисованные карандашом на белой бумаге. С прозрачного неба чудесное спокойствие снисходило на молчаливые горы.

— Славно ехали! — сказал Кланкарини, довольный своим искусством.

Бод искал во дворе сухой гостиницы автомобиль, умчавший его счастье.

— Они не захотели ночевать здесь, — сказала служанка.

Влюбленные мужчина и женщина уехали чудесной ночью.

Тезио, советник округа и уполномоченный фирмы Массьера по сбору лаванды в этой части Альп, дал следующий совет Боду:

— наших аппаратов здесь недостаточно. Поставьте еще один по пути отсюда в Каstellан. Я добуду вам Гишара в распорядители. Массьера станет тогда королем лаванды!

Гишар, комиссионер фирмы Гига, рассчитывал сделаться мэром в округе, что уменьшило бы доставку лаванды Массьера.

Парфюмеры привлекали в качестве комиссионеров лиц, пользующихся в округе влиянием, благодаря их избирательной деятельности. Тезио и Гишар придерживались в политике энергичных, хотя и не вполне ясных для них самих убеждений. Мыслить правильно было для них не столь существенно, как поддерживать Гига или вести против него кампанию.

Будучи друзьями, они не прочь были выпить вместе, пытаясь убедить один другого — благодушно или с ожесточением — в правильности своих смутных, но стойких мнений. Тезио хотел заставить комиссионеров Гига работать для фирмы Массьера. Он уничтожил бы, таким образом, конкуренцию и был бы спокоен относительно того, что он называл своими политическими убеждениями.

Стук топоров раздавался под дощатым навесом, где заготавливали дрова для паровых котлов, нагревающих плотно закупоренные перегонные кубы, перенумерованные от одного до пяти. Благодаря изобретательности Бода, котлы для кипячения лаванды раскрывались на уровне земли. Это освобождало рабочих от утомительного подымания цветов наверх; они наполняли кубы лавандой, выгруженной над ними на подмости, на высоте грузовика.

Подмости эти, устроенные в виде лестницы, помогали сбрасывать к аппаратам снопы, поставленные наклонно, и заканчивались низкой платформой, облегчавшей очистку кубов от отбросов: вываренной травы, которую Тезио, желавший поддерживать со всеми добрые отношения, нередко дарил пастухам, весьма довольным даровой подстилкой. Подобное упущение всех манипуляций, необходимых для быстрой перегонки растения посредством пара, позволяло заводу пропускать в пятнадцать часов двенадцать тонн лаванды — количество, которое грузовики подымали в два приема, по шести тысяч кило каждый. Но политика Тезио в отношении цветов была так удачна, что грузовики доставляли к платформе и превышавший норму груз. Крестьяне ближайших холмов подвозили туда еще и на своих тележках.

Перегонщики были завалены горами лаванды, которая должна была попасть в перегонные котлы свежей, чтоб дать хорошую эссенцию. Благодаря высушиванию нежной травы, аромат улетучивался; часть его застывала в виде смолы, растворимой лишь при четырехстах градусах; аппараты, предназначавшиеся для свежих цветов, не могли нагреваться до этой температуры. Благодаря симпатиям горцев к Тезио и фирме Массьерра, к котлам свозилось все убранство холмов.

Между потными перегонщиками и шофферами завязывалось веселое соперничество: первые кричали, что не

могут дожидаться подвоза, вторые заваливали их грузом в три тысячи кило.

На расстоянии двадцати пяти километров в округности Тезио организовал тридцать пунктов закупки, поручив их наиболее влиятельным в деревнях лицам: в Сенезе — бакалейному торговцу, отпускавшему товар в кредит, в Торам-Хоте — лавочнику, угощавшему вином, в Ла-Бати — учителю, который никогда не отказывался сочинить письмо.

Тезио имел обыкновение справляться сначала о здоровье людей, а потом о состоянии их стенных часов: «Как поживает отец? *Couma va lou païre?* Ну, а часы — хорошо идут? *Marcha Bén la pendula?*»

Политическим его убеждением было часовое ремесло. За него голосовали, потому что он починал часы с кукушкой. В мае и июне он объезжал деревни и оставлял заведующим пунктами по две тысячи франков в уплату за первую доставленную лаванду; деньги выплачивались наличными тотчас же по взвешивании, а не по окончании сбора, как за розу или за жасмин в Грассе.

Сборщикам в Шато-Гранье, где фирма Массьерра приобрела право на сбор цветов, а также в Барреме, где каждый житель сохранял за собою привилегию собирать растущие на воле растения, платили одну и ту же цену. Обычай брать цветы на откуп у общин гарантировал фирме Массьерра весь урожай, но не уменьшал стоимости доставки их на пункт: восемьдесят сантимов за кило; именно столько платилось крестьянам из Де-ла Мюра, помимо двух тысяч франков, уплаченных ратуше.

Так как перегонка не могла поспевать за сбором, груды цветов высушались, уменьшаясь в весе, к удовольствию взвешивающих. Мошенничая на весе, здесь не прибегали к смачиванию цветов, как в городе; это было

бы слишком затруднительно в горах, где сборщики располагали только той водой, которую они приносили с собой в тыквенных бутылках. С целью увеличения веса, они низко срезали растение, со стеблями, листьями и нередко с корнями. Приемщики платили за свежие цветы, а увезти их на грузовиках в этом году предполагалось сухими.

Тезио сказал Боду:

— Это дает им возможность воровать двумя руками. Приемщик сбавляет цену сборщикам, жалуясь на то, что те небрежно срезают растение, а сам считает нам все потерянные вследствие высыхания кило. Ищите после! Улетучилось — да и только! Это обходится нам в шестьдесят тысяч франков в год. Если мы начнем выражать неудовольствие, они будут продавать фирме Гига. Тут уж не приходится слишком строго относиться к весу.

Радуюсь потерям капитала и затруднениям при расчетах, он оправдывал старые порядки:

— Если мы не будем платить больше других, у нас украдут все, даже на холмах, арендованных нами. Крестьяне говорят: «Лаванда принадлежит всем. Никто ее не сеял!»

Опустошители холмов приносили к кубам ноши, о происхождении которых они умалчивали, и им платили за них наличными, желая поддержать добрые отношения со всеми.

Жюль Нэгр, браконьер лаванды, за тридцать франков в день сманил Огюста Андреиса, легко справлявшегося со всякою трудной работой и мастера на все руки. В две недели он собрал Нэгру 1630 кило лаванды, и тот должен был уплатить ему за работу условленные пятьсот сорок франков; от перегонки же он ждал своих 1280 франков, полагающихся за вес. Под навесом, где раздавался стук топоров и визг пилы, рабочие, которые

должны были нагревать котлы, смеялись над гарибальдийцем, сложившим свою ношу:

— Si fouté de tû. Он издевается над тобой! Ему платят шестнадцать франков за кило лаванды, а ты собираешь ему больше ста за тридцать!

Перегонщики закусывали, сидя в вываренной сухой траве, ерзая в ней всем телом, чтоб устроиться поудобнее.

Наступив тяжелыми башмаками на гвоздях на сноп свежей лаванды, бунтовщик хотел этим показать, что он сам хозяин. Жюль Нэгр, с толстым, обтянутым матерчатым поясом животом, кричал ему: «Lèvé ti d'aquí! Подымайся-ка оттуда!», так как он не мог допустить, чтобы его работник сидел, сложив руки.

Стоя на цветах, собранных его трудами, Андреис сказал:

— Я для тебя из кожи лез. Ты угощался на свободе абсентом, пока я распиался на холмах. Ты не дал мне ни серпа, ни мешка! И ты хочешь нажить на моем труде восемьсот тридцать франков? Если ты попробуешь взять хоть один грош из этих денег — я убью тебя!

Наниматель возразил ему:

— Я твой хозяин, и я буду платить тебе поденно.

Тезио, желая поддержать свою популярность, взял сторону Андреиса:

— Каждому причитается по весу!

Нэгр обернул жилетку:

— Вы хотите лишить меня работника? Что же, кроме вас, здесь не должно быть хозяев? Зачем вы мешаете моим выгодам? Почему вы продаете в Грассе лаванду, которую отнимаете у нас? Вы выручаете миллионы, а рабочим платите восемь франков в день.

Тут Тезио заговорил, как надлежало главному советнику округа:

— Какой-то несчастный, у которого нет даже никаких политических убеждений, смеет упрекать меня в том, что я обогатил весь округ! Зарабатывал ли кто-нибудь из местных жителей по восьми франков в день до того, как я поставил здесь перегонный куб?

Огорошенный крестьянин, обманутый в своих ожиданиях, пошел на попятный. Синдикалист Андреис отказался от своего кровожадного намерения. Гнев его уменьшился, когда он увидел, что все люди одинаково жадны — как обладающие большими богатствами, так и неимущие. Всякий мог эксплоатировать рабочего там, где это всеми делалось открыто. Отчаявшись в справедливости, он снова пошел на холм, собирать в одиночестве пахучие травы. Вследствие высоких цен на них, деревни богатели. Семьи горцев зарабатывали по две тысячи франков в день, в два раза больше, чем в былое время за целый год. Кафэ на площади бывало по утрам полно пьющими аперитивы, а днем — кофе. Крестьяне обедали по воскресеньям в «Альпийской гостинице», которая считалась весьма комфортабельной, благодаря кабинетам с надписью «Для дам» и «Для мужчин».

Играющие в шары украшали скульптурными позами площадь перед церковью. Согнувшись, нахмутив брови и считая до трех раньше, чем бросить шар, они выглядели так, как будто собирались сделать самое значительное дело в своей жизни. Ставкой бывала бутылка шипучего лимонада или рюмочка абсента. Затем они быстро выпрямлялись. Внимательные партнеры давали советы, как направить шар по неровной почве.

Тележки возвращались из деревни, нагруженные сеном, в веревочной сетке, чтоб втащить его на холмах там, куда колесам не было доступа. Распряженная лошадь тянула подъемный канат на блоке, укрепленном на крыше двухэтажного дома. Животное знало число шагов, необходимых, чтоб дойти до дома, и останавли-

валось в соответствующем месте, которое по вечерам отмечалось тенью, отбрасываемой крышей.

Покос и отава приносили хорошие барыши. Набитые чердаки могли бы легко воспламениться в местечке, разбогатевшем благодаря сену, картофелю, пахучим травам и отдаче внаймы комнат семьям, приезжающим сюда на лето. Местные девушки подражали туалетам, привезенным из Тулона и Ниццы. У барышни Палапуль, из «Альпийской галантереи» было теперь пианино, на котором она ежедневно играла из «Фаворитки»: «О, мой Фернан!..», а на дороге трещала мотоциклетка брата, привычный шум которой уже не пугал коз.

Старшая дочь владельца мелочной лавки вышла замуж за банковского чиновника в Канне. Младшая завидовала ей в том, что она могла уехать отсюда. Богатство вызывало у мужчин желание владеть в деревнях домами и землями, а у девушек — стремление приобщиться к удовольствиям Ниццы.

Пьерина Ферратье, красивая брюнетка, любила собирать у кубов длинные стебли лаванды, которые она настаивала в бутылочках, перевязанных лентами. Пильщики, разводившие под котлами яркое пламя, спрашивали ее:

— Ты только из-за цветов приходишь?

Она строго смотрела на них. Она вовсе не желала, чтоб над ней издевались. Суровые работники отечески балагурили с девочкой; они сообщили ей, что Бод с грузовиком в Сенезе.

— Отправляйся-ка с ним. С ним ты еще лучше наберешь лаванды!

Она расправила складки белого платья, чтоб сесть на цветочные снопы, и терпеливо принялась составлять себе букет. Над красотой девочки гений аромата простирал свои большие крылья. Феи холмов, обитающие в грудах лаванды, утешали ее опечаленную душу. Она

любила спрятаться где-нибудь с цветами, которые пропитывали ее своим запахом. Она чувствовала себя красивее, когда ее развевающиеся юбки наполняли благоуханием дорогу. Настолько застенчивая, что ее считали гордой, она высоко поднимала свою красивую головку и держала прямо свое тоненькое тело. Держа в руках цветы, в благоухающем платье, она проворно убежала на дорожку, где уже сгустились сумерки. Позади нее раздавалось пыхтенье грузовика Кланкарини, высоко нагруженного примятой лавандой.

Мужской голос сказал:

— Пойдем, поищем свежей!

Она подняла букет над плечом, показывая из-за черных волос голубые цветы и как бы желая сказать: «У меня их достаточно!»

Гордая и боязливая, она угадывала за собой взгляд, от которого ждала себе радости.

Сердце ее трепетало, когда она поцеловала сидевшую на пороге дома бабушку, маленькую худую старушку, всю в морщинах. Старуха ничего не слышала, даже когда ей кричали громко, и многое приходилось объяснять ей жестами. Она отвечала тем же, так что под конец ее стали считать немой. От нее исходил старческий запах, обычно свойственный крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на здоровый запах пота, но еще не зловоние трупного разложения. Голова ее тряслась; платок в красную и синюю клетку скользил на черепе, лишенном волос. Тусклое пламя грошевой лампочки посреди комнаты освещало четки из маисовых зерен и гроздья томатов, подвешенные к балкам. Старуха с глянцевым лбом, угадывавшая печаль в сердце девочки, сказала:

— Не хочется идти на бал одной одишенькой?

Мелькали белые платья девушек, направлявшихся к аккордеону пьемонтца Мантелло, трезвого в работе

и способного обойтись одним литром воды, трудясь весь день на солнце, но становившегося хорошим музыкантом только в том случае, если ему удавалось залить за ворот. Сильные пальцы человека, исправлявшего дороги и собиравшего лаванду, исполняли «Фавориктку» лучше, нежели нежные руки барышни Палапуль.

Кланкарини отправлялся утром за лавандой в сопровождении Мателло, помогавшего ему грузить.

Оба мерзли на теневой стороне гор, в тот час, когда ветер с высоких Альп двигал черными соснами, растущими на сухих склонах, благоприятных для хвойных растений. У ручьев раскачивались тополя, любящие сырость.

Мужчины, продрогнув в тенистой долине, выехали оттуда на яркое солнце. При первых же движениях, пот выступил у них на лбах. Горы, где в ущельях бывало холодно, а на скрытых местах жарко, дарили ароматами и дрожью. На холмах, по которым прошелся серп, вплоть до лесных опушек, торчали лишь одни зеленые пучки. Здесь сборщики уже покончили работу. Сбор их был сложен на лугу, в тени трех груш, защищавших своими старыми ветвями цветы, разложенные, во избежание согревания, на козлах.

На шум грузовика явился приемщик.

— Вы можете захватить все в три приема; понадобилось бы четыре, если бы вы приехали за свежей лавандой.

Он был дорожным сторожем и жаловался на свою судьбу:

— На проселочных нам платят плохо: две тысячи франков в год, вместо трех, которые платят на шоссе-

ных, хотя там и меньше работы — обвалов не бывает. Мы должны иметь собственные инструменты. Округ дает только метлы. По счастью, Тезио помогает нам перебиваться.

Кланкарини и сторож, стоя по обе стороны грузовика, начали, с помощью вил, поднимать груз, который стоявший на грузовике Мателло утапывал ногами, стараясь с самого низа набивать как можно туже, чтоб нагрузить побольше и не слишком высоко.

На горе Дю-Шеваль-Блане горела трава. Желая создать лаванде место для будущей весны, крестьяне расчищали скалы огнем, так что там погибало все, кроме лавандовых корней. Невысокое пламя, тусклое при солнце, ползло, алея, по белому камню. Гора кровоточила огнем.

Отплевываясь от пыли, заключающейся в горной, высоко подбрасываемой вилами траве, Мателло, любивший хорошо делать свое дело, приплясывал, смеясь и издавая неприличные звуки, шлепал себя по заду, размахивая пустыми руками и неистово работая ногами. Перегонщики обзывали его бездельником, так как он уезжал, сидя на досках грузовика, а возвращался, лежа на лаванде, но он отомщал за свою рабочую честь, прочно утрамбовывая груды лаванды. Получавшуюся таким образом крепкую и плотную травяную настилку он называл «фундаментом».

Кланкарини ругал его дружески:

— *Siès pas cargairè, siès cargairè!* Все на одну сторону валишь. Опрокинемся!

Мателло любил грузить высоко, в три метра, отвесно и прочно. Суется под жгучим солнцем, он радостно смеялся, забравшись так высоко, что вилы не могли уже больше накладывать траву наверх и должны были подкидывать ее, так как высота груза превышала длину рукояти.

Стоя наверху, как часовой на мачте, он видел высохшее русло Энкюра. Солнце беспощадно заливало своими лучами эту обездоленную местность, скалистые холмы которой не давали никакой тени.

Работник, довольный тем, что под ним гнулись оси, стягивал груз, крепко охваченный двойным канатом.

Мужчинам, у которых пот струился по лбу, захотелось выпить; они отправились на поиски абсента, который им и поднесла жена дорожного сторожа, приторговывавшая вином. Тезио привозил эссенции фирмы Массьерра, и она влила их в 68-ми градусный спирт. Тезио называл это «поделочкой». Как и починка часов, это было для него средством для увеличения своей популярности. Аптекаря в местечках также продавали эти эссенции.

Кланкарини и Мантелло знали, где можно хорошо выпить — начиная от Ла-Бати, в долине Изоля и кончая Ламбрюи, в долине Энкюра. Будучи знакомы со всеми в краю лаванды, они забирали груз в Торам-Хоте и Торам-Бассе, в старом пустующем замке. Один из домов на большой улице был там необитаем. В Сенезе из восьмисот жителей оставалось только четыреста. На стенах церкви висели бовезские гобелены, украшавшие раньше епископский дворец, разграбленный в 1789 году. Старики рассказывали, что обрывки их находили в ручьях, так как ткань их была плотной и отлично годилась для запруд.

В Шато-Гранье лаванда ожидала на площади, в тени, как и подобало, поскольку желали предохранить ее от нагревания солнцем. Приемщик взялся за вилы, чтобы помочь грузить. Сбор приходил к концу. Накануне ушел еще один из сборщиков, вероятно, последний. Надо было слишком много ходить: все холмы вокруг деревни были обработаны. Теперь нужно было пере-сесть множество долин, забираться высоко и далеко,

чтоб принести ничтожный груз — двадцать, тридцать кило, так как лаванда была уже сухой. Пучки ее попадались все реже, а стебли становились легче. Занятие делалось невыгодным, и местные жители оставляли его.

Мантелло вытащил из груды пучок лаванды, срезанной до самого корня.

— Aquèon, a rèla la lavando. Ишь, кто-то загубил растение. В будущем году уж не принесет цветка!

В одном из дворов, заваленном отбросами перегонки, лежал куб, опрокинутый над потухшим огнем.

Кланкарини и Мантелло проезжали мимо деревень с пустующими домами. Немногочисленные мужчины ушли собирать лаванду в свои небольшие поля на склонах холмов. На расстоянии пятидесяти метров пути им встретился только дорожный сторож да жандарм. В Барреме они захватили груз, лежавший возле небольшого заводика, выстроенного лейпцигской фирмой Шиммель для перегонки лаванды и кипариса. Ни одна из грасских фирм не имела в Альпах такого солидного оборудования, с высокой кирпичной трубой над помещением для десяти кубов, вместо дощатого навеса и толевой трубы.

Желая промочить горло, Кланкарини и Мантелло остановили грузовик на дороге перед маленькой деревушкой Жеводан, между Мориесом и Барремом, и поднялись по тропинке для мулов, ведущей к скученным наверху остроконечного холма домам. Обильная вода бежала из трех отверстий фонтана. Источники на холмах были владыками человеческих поселений. Дома в этих сухих местах строились там, где была вода.

Разваливающиеся ступени вели к порогам, которых уже несколько лет не переступала нога человека. Куры чувствовали себя полновластными хозяевами в теплой тени покинутых жилищ, предоставлявших животным широкое гостеприимство.

Рядом с этими развалинами дом, расцвеченный красной геранью, веселил обезображенное лицо деревни, но живыми в ней были только цветы и вода; обитатели ушли в горы, и в полуразрушенной деревне нельзя было раздобыть абсента. Они напились воды из щедрого источника. Им повстречался старик, ведущий под уздцы мула.

— Вы приехали за лавандой для Тезио? Я продал ему по восемнадцать су. Но в будущем году я сам покупаю куб и займусь перегонкой. Раньше в деревне была нищета и голод. Теперь, когда здесь зарабатывать можно лучше, чем в Ницце, молодежь вернется сюда. Нас было восемьдесят жителей. Осталось тридцать. В округе совсем заброшены деревни: Рокаспарвьери, Шато-де-Конт, вся высокая часть Туретты, старый Серанон. Гудрон, над Ле-Лу, еще существует. Многие жители и сейчас бы ушли, если бы могли продать свое имущество, хотя бы за четверть цены!

Старик указал на лишенный всякой растительности склон:

— Это моя земля. Виноград принялся бы здесь. Но я не посажу винограда и не посею ржи: вино и хлеб можно купить гораздо дешевле в Барреме. Я разведу повсюду лаванду. Я буду собирать ее там, где насаждают лес. Казна разводит ель в горах. Тень убьет лаванду. Я пересажу ее на свою землю. Один фут приносит пять франков. Она растет повсюду и не требует почти никакого ухода. Раз в год пройдешься с плугом или сохой...

— Вы разбогатеете тут, — сказал Кланкарини.

Старик уронил худые руки, которые примяли его вздувшуюся над широким матерчатым поясом рубашку.

— Разбогатеть можно только от своих трудов. Работников больше не найти. Жать они больше не хотят и за сорок франков в день. За лаванду платили

до двадцати двух су за кило, в окрестностях Сенеза. Мужчина может доставить ее на сто кило в день. Все уйдут за цветами и сгноят урожай. Тот, кто опаздывает на холмы, застает их уже обобранными.

Кланкарини и Мантелло спустились по склону, на верху которого возвышалась, подобно укреплению, кладбищенская стена. Холм, где журчал живой родник, высоко, как жертву, возносил своих мертвых, проживавших здесь раньше между избой и полем, в те времена, когда деревенские юноши бросали еще с ненавистью в друг друга камнями только потому, что родились по разные стороны потока.

Перед грузовиком, где возле ящика с инструментами тлела тряпка, Кланкарини накинута на Мантелло, у которого вечно торчала в зубах сигара.

— Это ты обронил огонь! Сухая лаванда воспламенится в одну секунду!

— Я никогда не бросаю окурков, я их жую! — сказал Мантелло.

В подтверждение своих слов, он сплюнул на дымящуюся тряпку коричневую слюну.

— Я уже не раз горел, — сказал Кланкарини. — В первый раз — со снарядами, возле Пьяве. От грузовика не осталось ни кусочка неизуродованного железа. В другой раз, в Бордигере, мне удалось потушить пожар: у меня было две тысячи кило роз. Грузовик стоял в то время дорого. Когда поезда опаздывали, я здорово зарабатывал! Хорошие пассажиры давали по пятьдесят франков на водку, только бы доехать первыми.

Они двинулись обратно к маленькому заводу. Широкие колеса раздавливали следы копыт на пыли. Крестьянки, покачивавшиеся в седлах, приветствовали их.

Нагруженные так, что под ними затрещал мост, они медленно переехали Энкур. Настил гнулся под тяжестью клади в шесть тысяч кило. Мантелло прозакладывал

рюмку абсента и одну сигару, обещая в следующий раз нагрузить так, чтоб мост полетел к чорту.

Он видел свой триумф в том, что мост не выдержит и провалится, благодаря чрезмерной тяжести машины.

На следующий день, утомленные Кланкарини и дорожный сторож из Ламбрюи, отказывались грузить выше трех метров лаванду, на которой яростно метался Мантелло.

— Я с места не двинусь с такой ничтожной кладью!

Кланкарини предложил ему уплатить за абсент и сигару даже в том случае, если мост и не провалится. И он убедился, что для Мантелло его работа — выше всего на свете.

— Я не буду ни пить, ни есть, пока мост не провалится! Ты просто боишься, трус! Сароин, ас рои!

Мост, перекинутый для телег и мулов, затрещал под машиной, нагруженной шестью тысячами кило и пущенной Кланкарини черепашьим шагом, но все-таки не провалился.

Выехав на твердое место, Мантелло обругал старый мост сволочью!

Гордость вернулась к нему, когда они поровнялись со встречными телегами; указывая людям высокую, неподвижно увязанную кладь, работник кричал с удовлетворением: «Хороша нагрузка?»

Знатоки любовались крепким сооружением:

— Вы эдак продержитесь до самого Грасса!

Ветки деревьев, окаймлявших дорогу, цеплялись за высоко нагруженную лаванду, пучки которой застре-вали в них на память о проехавшем грузовике.

Они направились в Кломан, где взвешивание лаванды происходило возле развалин сгоревшего монастыря. Клубок не встречался больше в этих местах, где в былые времена монашеские сандалии отпечатывались на дорожной пыли. Пьеррина Ферратье могла выбрать

своими ловкими пальцами мягкие стебли лаванды, положенной работниками на козлы.

Кланкарини высказал свое мнение о молодой девушке:

— Работает она хорошо, только чересчур уж горда!

Застенчивость юной смуглянки казалась ему гордостью.

Мантелло полагал, что женщина не обладает ни остротой абсента, ни приятностью сигары, ни сладостью жевательного табака. Любя танцевать, он часто опускался в кафе два су в автоматический музыкальный ящик, но ему доставляло одинаковое удовольствие вернуться с девушкой или с товарищем, отмечая такт оглушительным топотом подбитых гвоздями башмаков. Кланкарини приостановил в местечке грузовик, чтоб сообщить девушке приятную новость:

— Есть совсем свежая! Едьте как-нибудь с нами. Там вы найдете стебли, гораздо длиннее этих!

Он перечислял ей цветущие холмы, еще совсем голубые.

Она поблагодарила его, наклонив маленькую головку с густыми черными волосами. Мантелло, спешивший похвастаться своей солидной работой перед перегонщиками лаванды, кричал:

— Marcha! Marcha! Едем! Едем!

Он вполне понимал, что можно задержаться, чтоб выпить, но никак не для разговоров с девчонкой.

Гуляющие дачники, ничего не понимавшие в настоящей работе, ненавидели пыль, поднимаемую громадным грузовиком, на котором гордо восседали люди, с честью выполнившие свое дело.

Летние посетители Альп разгуливали по крутым дорогам на высоких каблуках, опираясь на палки с железными наконечниками. Смуглая кожа марсель-

ских и тулонских жителей, в розовых и белых платьях, принимала оттенки сухих плодов.

Крестьянки, переполошить которых, как кур, любил Кланкарини, прижимались к стенкам, пропуская широкую и высокую кладь. Когда они кричали, во рту у них блестели золотые зубы, вместо черных обломков, так как теперь они были богаты.

Двое работников у перегонного куба, отдохавшие на дощатом, освобожденном от лаванды помосте, подвергались насмешкам со стороны Мантелло:

— Когда ни придешь — вечно вы сидите!

Он швырнул в них тяжелым снопом. Вместе с травой упал камень. Перегонщики закричали:

— Так вот что вы привозите для перегонки! Бездельник, только и делает, что целый день разъезжает!

Камень в лаванде был для Мантелло лишним поводом к гордости:

— Это доказывает только, что поляну здорово очистили, что подобрали все цветы, опавшие со стеблей! Там под козлами попадают в пол-ладони величиной! Самое расчудесное для эссенции! В Клюмане, Клюзе, Шато-Гранье — ничего на земле не осталось!

Дровосеки, севшие поодаль, чтобы поесть спокойно, большими ножами разрезали свежий хлеб. Приезжие дамы дивились его белизне:

— У нас не бывает такого в Ницце, в Канне...

Старик, пропахнувший потом, дал им совет:

— Делайте, как мы: сейте хлеб! И будете есть белый!

Когда они отошли, жители гор определеннее высказали свою мысль:

— Слишком уж долго презирали крестьян! Пускай-ка поедят в городах дерьмо!

Приветливость вернулась к ним с приходом Пьеррины Ферратье, местной уроженки. Они подбодряли ее:

— Ты рта не смеешь открыть, а он и подавно!

— Подожди-ка, — сказал старик, — я вас сосватаю!

Он крикнул:

— Moussu Bod! Господин Бод!

И так как девочка побледнела, он продолжал медленно и значительно:

— Вот вам славная маленькая женушка...

Инженер беспощадно смотрел на застыдившуюся и приведенную в отчаяние девушку, быстро бежавшую по благоуханной дороге. То, что он мог заставить ее страдать, утешало его. Благодаря любви Пьеррины Ферратье, не один он был несчастлив.

Громадное количество лаванды, сваленной перед заводом, указывало на коммерческие таланты Тезио, который, казалось, был этим не особенно доволен.

— Мы оказались сильнее Гига. Мы закупили столько цветов, что перегонка не может поспеть за сбором. Зато крестьяне перестали сеять хлеб, так как у них не хватает рук для жатвы. В то время, когда надо копать картофель и убирать рожь, все уходит за цветами.

Он желал бы, чтоб земледельческая работа наладилась, так как любил свой край. Он вспоминал, как в былые времена графы де Кастелланы и сенезские епископы созывали крестьян для сенокоса, жатвы и сбора винограда:

— Я республиканец, но из этого не следует, чтоб я порицал то, что прежде было хорошего. Нынче слишком дорого платят за лаванду. Все сбегается, хватают ее, рвут. Цветы снимают слишком рано и повсюду одновременно, как в Барреме, так и в Сенезе и в Амьо, тогда как прежде начинали с деревень, расположенных внизу, и затем постепенно поднимались. Цветы собирали по мере их расцветания, смотря по высоте. Теперь же цветок обрывают, как только показывается бутон.

Распустившийся же цветок остается на стебле недолго. Пчелам не дают посидеть на них. Им не хватает пищи. Погоня за ароматом убивает альпийский мед и рожь. Следовало бы разделить горы на участки, для сбора. Сначала можно было бы собирать на холмах пониже, затем заниматься жатвой, а затем уж переходить на более высокие горы.

Позади человека, произносившего эти мудрые слова завод дышал приторным запахом вываренной травы, последняя перегонка которой завершалась к концу дня. Заходящее солнце бросало тени на склоны противоположных хребтов. Один на другом вырисовывались черные холмы. В изумрудном сумраке мелькали падучие звезды и зарницы. Наступление вечерней свежести замедлялось вследствие надвигавшейся грозы. Буря приближалась в неподвижном горячем воздухе, внезапно содрогавшемся, словно от падения воздушной горы. Знойным и ледяным порывом проносился ветер, в котором было дыхание огненной грозы и вечных альпийских снегов. Мрак погасил кроткие рождающиеся звезды, за исключением тех, которые находились на восточной стороне неба, оставшейся ясной. Бледная молния ударила в звучные скалы. Песчинки и веточки на земле, подхваченные вихрем, кружились, еле внятно шурша под раскаты грома. Ураган свистал в деревьях, откуда сыпались листья и сучья. Маленький красный огонек вспыхнул совсем близко, так что можно было различить очертанья пламени на холме, вершушку которого скрывал мрак. Казалось, огонек порхает среди тьмы. Он угас, и мрак стал непроницаемым, словно плотная повязка на глазах. Но порывы ветра говорили о необъятности невидимого пространства.

За дверьми домов собаки беспокойно передвигались на цепях, громко чесали о створки дверей свою жесткую, как щетина, шерсть. Ливень разразился неожи-

данным потоком. Шум дождя и громкое журчанье ручьев заглушали острый шопот пыли. Неимоверный мрак и вода повисли над горами, где длинные молнии пронзали синеву высоких вершин. Гром, посылаемый быстро несущейся грозой, затихал на остроконечных вершушках, вспышки молний по временам заставляли тускнеть звезды, созерцавшие эту внезапную ярость. Последние медленные капли дождя звучали уже ласкою. В водворившейся тишине снова поднимались ароматы. От груди лаванды, смоченной дождем, шло густое благоухание. Но вздохи земли превосходили дыханье цветов и всей растительности. Омытые скалы и почва издавали могучий запах. Поток ворочал камни бешеной волной, тяжелой, благодаря земле, которую она лизала у берегов. В гостинице, возле станции, богохульствовал Мантелло, проклиная грозу: «Сорвет, проклятая, мост!»

Он не мог простить стихиям, лишившим его возможности разрушить своей тяжелой кладью старый деревянный мост. Поутру он увидел, как остатки его колыхаются на взбуждающей воде.

Кланкарини нагрузил на автомобиль шесть бочек с эссенцией, — всего на сто двадцать тысяч франков, — которые Мантелло увязал и составил тесно рядом. Он выплюнул свою жвачку, чтоб проститься с товарищем по работе:

— С лавандой покончено! Теперь отправляюсь подбирать каштаны в Амио. Зимой буду собирать оливки. Я не хочу возвращаться в отель «Регина» перемывать посуду. В горах теперь заработаешь больше, а мочиться можно и в траву!

Грузовик, занимая собой всю ширину улицы, заставлял женщин прижиматься к дверям. Бод был бы не прочь путешествовать в более удобном экипаже; Ривара, управляющий фирмы Гига, старый его товарищ по школе, предложил ему место на подушках возле

себя, для возвращения в Грасс, но Бод отказался, не желая ничем обязываться соперникам. Сидя рядом с Кланкарини, который забавлялся, пугая своей грубой ловкостью прохожих, он увидел Пьеррину Ферратье, гордую, стройную и красивую, сверкающую черными волосами, алым румянцем и белым платьем.

Вопреки своему обыкновению, Кланкарини поехал медленно, с такими предосторожностями, как если бы переезжал мост через Энкюр. Он мог видеть, как побледнело красивое лицо и расширились черные глаза, впервые отважившиеся поднять умоляющий взор на Бода, высокомерное сердце которого смеялось над любовью, потому что сам он любил безнадежно.

Гордая девушка, с телом, благоухающим лавандой, опустила голову.

В железных бочках, грузовик уносил в направлении к Грассу дикий аромат гор.

Под аккомпанемент все растущего шума колес, Кланкарини пел громким голосом: «Ciao morettina! Прощай, смуглянка!»

Прощай, прощай, смуглянка!
Но раньше, чем расстаться, —
Но раньше, чем ра-аста-а-ться —
Родному и родимой поцелуй,
И со-отни поцелуев ненагля-я-дной!!

— Чистую ли вы привезли лаванду? — спросил Бода Борсетти. — Никогда еще так не фальсифицировали эту эссенцию, как теперь: очень уж дорого за нее платят.

В лаборатории, среди белых стеклянных сосудов: флаконов с жидкой эссенцией и склянок с густой, находились продукты, как сфабрикованные на заводе, так и приобретенные. Экстракт дубового моха, ценою по прейс-куранту в тысячу шестьсот франков кило, наполнял трехлитровый сосуд грязной черноватой массой; наряду с пармской фиалкой, стоившей по прейс-куранту восемьдесят тысяч франков кило, это был самый распространенный товар.

Два кило эссенции, полученной из тысячи двухсот кило цветов черной смородины, представляли собою крепкий желтоватый воск. Перед хрупким приборами на мраморных и стеклянных столах и в ящичках с перегородками, двигались белые блузы Борсетти и нового его помощника — девицы Одили Кокад.

Сенекка, устранный от лабораторных опытов, занимался составлением смесей, так как отличался обонянием охотничьей собаки. В Грассе говорили: «Носом в парфюмерии можно составить себе богатство!»

Аппараты Борсетти подтверждали непогрешимость обонятельного органа Сенекки, мясистого и несколько

красноватого, помещавшегося посреди полных скул. Дородные его щеки были румяны. Щеки же Борсетти были отвислыми, как это бывает у утомленных людей; все благородство его лица заключалось в тонком подбородке и большом лбе. Борсетти работал над ароматами из любви к науке, Сенекка — из чувственного удовольствия. Одним вдоханием ноздри различал он болгарскую розу от грасской. Лицо его с широким подбородком и черными гладкими волосами походило на мотыку: казалось, оно было создано только для того, чтоб посадить его на рукоятку.

Массьерра обонянием несколько не уступал Сенекке, но его способности были не так очевидны, так как у владельца завода лицо было, как у всех: круглое и правильное; это был красивый мужчина, обладавший небольшим носом.

Одиль Кокад, имевшая звание химика, была образованной и чрезвычайно послушной девицей. Химическими манипуляциями она занималась, как и латинскими переводами и рукоделием, — не мудрствуя лукаво. В высокой степени одаренная женскими свойствами — подражательностью и послушанием, она в семнадцатый раз повторяла анализ бергамота и проделала бы это и еще сто раз подряд, не испытывая при этом никакого нетерпения.

Сенекка, занятый смешиванием в нормальной пропорции 20 : 100 болгарской эссенции, стоящей 4.500 франков, с эссенцией, означенной в преис-куранте: «Чистейшая грасская, 20.000 франков 1 кило», сказал Борсетти:

— Я изобрету эфирный удвоитель. Это будет революцией в парфюмерии. Натуральные эссенции разбавляются в настоящее время химическими продуктами, в зависимости от их свойств. Сегодня утром вы положили иона в фиалку. В нее его можно спокойно

класть пятнадцать процентов. Гвоздику вы приправяете изойгенолом, нарцисс — уксусно-кислым паракрезолом, резеду — гексилметилцетоном. Это весьма сложно. Я подумываю об эфире, который удваивал бы вес эссенции, не изменяя ее качества: тот же запах, тот же цвет, та же плотность, те же данные при анализе. Ничто не изменяется, увеличивается только вес! Из пятидесяти тысяч франков я сделаю сто тысяч!

Одиль Кокад благосклонно выслушивала эти мечты, проверяя жидкую эссенцию, получившуюся различной в каждом из двух перегонных кубов, хотя они и были наполнены одним и тем же растительным клеем. Борсетти задумывался над этим новым затруднением.

Была ли это таинственная сила вещей или же опять человеческая ложь? Могло ли одинаковое количество одного и того же вещества дать различные результаты в зависимости от формы аппаратов, свойства меди, быстроты нагревания? Является ли огонь для перегонного куба таким же колдуном, как в керамике, где никогда нельзя быть уверенным в оттенке эмали, которую огонь изменяет собственной силой, заключающейся не только в одной температуре, но и во всех тех непостижимых возможностях, которые таятся в пламени? Не хватало еще одной науки — химии огня, анализа пламени.

В громадные окна, обращенные на грасские холмы, широким потоком вливался яркий свет, играя на стекле сосудов, в которых заключались вещества, ценою до тридцати франков за один грамм. Сокровища, извлеченные из цветка, стоили так же дорого, как и те, что добывались на золотых россыпях и в алмазных копиях.

Борсетти презирал эти ароматные драгоценности. Он отнюдь не мечтал, подобно Сенекке, об изобретении лучшего способа подделки натуральных продуктов; он отнюдь не желал их распространения, а хотел уничто-

жить их совсем. Химия для него была не ловким трюком, а божеством. Он думал, что фирма Массьера стала бы первой в мире лишь в том случае, если бы создавала все ароматы помимо цветов.

Одиль Кокад казалась ему в это утро чрезвычайно рассеянной, и он хотел убедить ее в значении химии.

— Мы переживаем момент перехода от натурального аромата к химическому. Какая бессмыслица — заставлять землю производить вместо хлеба розы, если химия может заменить цветы и если она не может пока заменить хлебных растений! Уж перестали выращивать индиго, для окраски в синий цвет, и марену, чтоб окрашивать в красный. Химия дает в настоящее время все оттенки красок и гораздо успешнее, чем это когда-либо мог сделать земледelec. Пахучие эссенции будут производиться современем без помощи земли, как это произошло теперь с краской. Красящее растение умерло. Теперь очередь за пахучим.

Одиль Кокад слушала эти утверждения менее внимательно, нежели разговоры Сенекки относительно эфирного удвоителя. Симпатия ее к этому человеку с крупным носом, делала ее рассеянность столь же опасной для опытов, как и недобросовестность Сенекки. Она была покорна до отупения, но рабского ее послушания не следовало рассеивать. Мысли о любви настраивали ее мечтательно. Борсетти суждено было пережить новые испытания со стороны подчиненных.

Женщина не может думать сразу о двух вещах. Любовь убивает в ней исполнительность. Молодые девушки остаются на заводах дольше, нежели молодые люди, которые в двадцать один год должны отбывать воинскую повинность и которые возвращаются после своего освобождения не на тот завод, где они получили свою подготовку, а на другой. Но и у женщины бывает

период уклонения, рассеянности, именно — период любви. Она бросает все, чтоб следовать за мужем. Когда она влюблена в мужчину, она перестает любить свое ремесло.

Таким образом, Борсетти не мог положиться ни на кого в том трудном деле, которое было на него возложено.

Роза в восемь франков пятьдесят и жасмин в двадцать пять побуждали химические лаборатории к интенсивным изысканиям. Научный педантизм Борсетти был неоценимым кладом для Массьера. Он был обязан ему прежде всего изготовлением, так называемых «соусов», которые вливались в куб для перегонки вместе с цветком, дабы увеличить плотность эссенции. Этот прием, издавна применявшийся в горах старыми перегонщиками, которым они, люди природы, пользовались так же успешно, как и самые знающие химики, интересовал Борсетти постольку, поскольку им можно было добиться удачных результатов фабрикации. Но этого ему было недостаточно, он искал совершенного и стремился совсем изгнать цветы, а не останавливаться на полдороге. Он хотел не подправлять, а совершенно заменить розу фениловым алкогolem, клевер — салициловым кислотой, жасмин — масляно-кислым бензилом, иланг-иланг — метиловым паракрезолом. Этикетки указывали на происхождение этих продуктов, выстроенных в банках рядом с цветочной эссенцией в сыром виде: «Ришар и Антом, Обервиль»; это была фирма, снабжавшая грасских парфюмеров материалами, требующимися для фальсификации.

Борсетти надеялся добиться большего, нежели фирма Ришар и Антом, и снабдить фирму Массьера всеми химическими ароматами. Работа аппаратов, расставленных перед большими окнами, откуда была видна велико-

лепная страна цветов, должны была уничтожить современем, потушить оттенки роз в садах и предоставить дыму заводов владычество над опустошенной землей.

Деревня и лаборатория боролись: цитадель химии устремляла по направлению к царству зелени синее пламя газа из-под своих медных колб.

Человек, с лицом, пострадавшим при взрыве, поддерживал огонь и передвигал металлические сосуды; это было трудным делом по сравнению с занятием Одилы Кокад, ставившей на чашки весов крошечные гирьки. Хорошо зная, где в длинных ящичках стоят флаконы с этикетками, она обыкновенно вынимала их уверенной рукой; в это же утро она ошиблась и отваживалась смеяться этому обстоятельству, так как работа перестала быть для нее главным делом в жизни. Аромат земли властно поднимался к месту, где его замыслили уничтожить. Волнение, барыши, тяжелый земледельческий труд, плодившие кругом ненависть и богатство, должны были исчезнуть по воле лаборатории, где ароматный свет этой страны цветов играл на пузатых склянках и ретортах.

Борсетти, вследствие своей преданности науке, был врагом всех гениев земли. В борьбе за господство, бог химии ополчался на бога цветов и голубого неба.

Язычки газа под медными колбами влияли на эти сосуды, как лучи на растительность. Борсетти стремился уничтожить различие между ароматами, питаемыми солнцем, и ароматами, сфабрикованными в сосудах. Возращивание жасмина казалось ему покушением на человеческую гениальность, во власти которой было пересоздать природу. За химической краской, за химическим ароматом, должна была притти химическая пища, чему начало он видел в эссенциях, которыми пользовались кондитеры и водочные фабриканты.

Презирая цветы, он презирал и плоды. В своей лаборатории, откуда ему были видны апельсиновые поля, он фабриковал децильный алдегид, обладающий вкусом апельсина; уксусно-кислый линалит для подделки бергамота, ванилин и целую серию фруктовых эссенций, означенных в прейс-куранте:

Искусственные фруктовые эссенции.

	Не содержащие алкоголя:	Содержащие алкоголь :
	Раствори- мые в алко- голе при	1 кило франк :
Абрикос	70°	220
Ананас	70°	160
Банан	70°	180
Черная смородина . . .	40°	130
Вишня	70°	220
Лимон	90°	140
Айва	70°	80
Земляника	70°	170
Малина	70°	230
Гранат	70°	140
Красная смородина . . .	70°	150
Мандарин	70°	340
Ежевика	75°	150
Апельсин	90°	180
Персик	80°	250
Груша	70°	160
Яблоко	70°	200
Слива	70°	90
Виноград	70°	290

В колбах созрел целый фруктовый сад, начиная от тропических бананов и кончая нормандским яблоком.

В этой области желания Борсетти осуществились. Он извлекал из минералов вкусовые обманы, заменяющие для рта растительные соки. Кондитеры и продавцы ликеров покупали их в виде эссенции на грасских заводах, из которых ни один не перерабатывал плодов. Оставалось победить цветок. Об этом страстно мечтал фанатик-химик.

ЛЕНГИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАД, ДОМ КНИГИ, Проспект, 25 Октября, 28. Тел. 132-44, 570-14.
МОСКВА, Тверская, 51. Тел. 3-92-07, 4-92-31.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АМП, Пьер. — Золотоискатели. Перевод А. А. Поляк. Под редакцией Бенедикта Лившица. С предисловием Рене Маршана. Стр. 167. Ц. 70 к.

АМП, Пьер. — Лилльские ткачи. Перевод с франц. А. А. Поляк, под ред. Бенедикта Лившица. Стр. 129. Ц. 60 к.

АРКОС, Рене. — Злые годы (1913 — 1917). Перевод с франц. Бенедикта Лившица. Стр. 224. Ц. 85 к.

БЕРГСТРЕМ, В. — Дом пропащих. Перевод с датского А. и М. Ганзен. Стр. 104. Ц. 50 к.

ГАСТОН-ЖОЗЕФ. — Коффи. Действительный роман чернокожего. Перевод О. Брошниковской, под редакцией А. Н. Горлина, с предисловием Р. Маршана. Стр. 109. Ц. 40 к.

ДОРЖЕЛЕС, Роллан. — Пробуждение мертвых. Перевод Э. Л. Вейнбаум. Под редакцией А. Н. Горлина. Стр. 304. Ц. 1 р.

ДОС ПАССОС, Джон. — Три солдата. Перев. с английского В. А. Азова. Стр. 356. Ц. 2 р. 20 к.

ЛОНДОН, Джек. — Рассказы о смельчаках. Пер. с английского В. А. Азова и А. Н. Горлина. Стр. 116. Ц. 45 к.

ЛЬЮИС, Синклер. — Главная улица. Перевод с английского Д. М. Горфинкеля. Стр. 403. Ц. 1 р. 75 к.

СИРИЛЬ-БЕРЖЕ. — В то время, как он сражается. Предисловие А. Барбюса. Перевод Э. Л. Вейнбаум. Редакция А. Вейнбаум. Стр. 256. Ц. 1 р. 25 к.

д'ЭСМ, Жан. — Красные боги. Перевод с французского Бенедикта Лившица. Стр. 307. Ц. 1 р.

